

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ
ПРЕДСКАЗАНИЕ



- [Предисловие](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Постскриптум](#)
-

Предисловие

Как-то вечером в конце февраля девяносто первого года у меня дома зазвонил телефон. Незнакомый женский голос начал разговор весьма банально:

— Вы меня не знаете, но мне необходимо встретиться с вами.

Подобного рода звонки случаются довольно часто. Как обычно, люди на другом конце провода либо жаждут сниматься в кино, либо хотят работать у меня в съемочной группе, либо предлагают сочиненный ими сценарий. Умение отвертеться и остаться вежливым — дело непростое. В особенности если ты смертельно устал, а собеседник настырен.

Я около месяца назад закончил съемки своей новой ленты «Небеса обетованные» и, собрав в кулак остатки сил и здоровья, всюду занимался монтажом и озвучиванием. Встречаться с кем бы то ни было совершенно не входило в мои планы. Для начала я поинтересовался: а по какому поводу нам «необходимо» встретиться? Оказалось, незнакомка намерена передать мне рукопись повести недавно погибшего писателя, чтобы я ее прочел.

Тут я соврал, что для следующей постановки у меня уже готов новый сценарий.

— Речь идет не об экранизации повести, — объяснила мне собеседница, — а о том, чтобы ее опубликовать.

— Извините, как вас зовут? — осведомился я.

— Людмила Алексеевна.

— Дорогая Людмила Алексеевна, — почти торжественно сказал я, — в данном случае вы ошиблись адресом. Я не учреждение. Вам надо обратиться в редакцию какого-нибудь журнала. Или же

в издательство, благо их сейчас расплодилось множество...

— Нигде не станут разговаривать всерьез с человеком с улицы. Я уже пробовала, они даже не взяли читать. Вещь написана известным писателем, но под псевдонимом. Я не имею права раскрыть его. Я обратилась к вам, потому что вы у меня вызываете доверие...

Сейчас она начнет расточать комплименты моим фильмам и тому, как я вел «Кинопанораму»...

— Я думаю, вы, вероятно, знали автора, хотя он вывел себя в повести под псевдонимом. Кроме того, судя по всему, вы, наверняка, человек отзывчивый.

«Телезрители даже не подозревают, как обманчива внешность человека, вещающего с экрана», — подумал я и пробормотал:

— Спасибо большое, но я вряд ли смогу помочь.

— Если захотите, сможете, — твердо сказал голос, — Поймите, речь идет о последнем, предсмертном произведении писателя.

— Но я не занимаю никакой должности, — затянул я привычную песню, — И не могу повлиять...

— Неужели вы такой же сытый и заплывший бездушием человек, как вся наша интеллигенция? — В ее голосе звучало отчаяние, а не желание обидеть, горечь, а не злость. — Это вещь недлинная, прочитать ее не займет у вас много времени. Каждый человек должен делать добро, и оно к нему вернется. Где я вас завтра увижу?

Я проклял себя за бесхребетность, но что-то в голосе незнакомки, какое-то подлинное горе заставило меня сдаться.

В следующий вечер Дом кино устраивал встречу с читателями «Экрана», где я числился членом редколлегии. Я назначил свидание у входа перед

началом вечера и, честно говоря, повесив трубку, тут же позабыл о разговоре.

Назавтра после утомительной смены в душном ателье (новую тон-студию построили так, что забыли сделать вентиляцию) я, выпотрошенный до конца, подрулил к углу Брестской и Васильевской, думая с отвращением, что сейчас мне придется вылезать на сцену и какими-то байками развлекать публику. В этот момент ко мне приблизилась женщина с канцелярской папкой в руках. Я мгновенно вспомнил вчерашнюю настойчивую особу и в глубине души послал подальше и ее, и себя заодно. Рассмотреть ее я не успел, было темно, да и некогда. Она всучила мне рукопись, а я нелюбезно буркнул, чтобы она позвонила мне в воскресенье вечером. Потом я вернулся к автомобилю, зашвырнул на сиденье опус, чтобы не таскать его в руках, и нырнул в здание.

Через час, выступив и по мере сил развеселив полупустой зал, я покинул Дом кино. На какой-то заграничный фильм я не остался. Попрощавшись с билетершами, которые знали меня уже много лет, я вышел в февральский промозглый вечер. Ветреная, стылая, пронизывающая дрожью погода подчеркивала неуютность разваливавшейся повсюду жизни. Подходя к своему «жигуленку», я сразу почувствовал что-то неладное. И действительно, шоферская дверца была полуоткрыта, видно, незваный гость посетил мой автомобиль. Я ускорил шаг и распахнул дверь. Магнитофон с радиоприемником были вырваны с корнем, только торчали оборванные концы проводов. В «бардачке» обычно лежал пропуск для въезда на «Мосфильм», газовый баллончик и еще что-то, чего я не мог сейчас припомнить, но в данный момент «бардачок» оказался пуст. Испарилась также моя кожаная заграничная сумка, в которой я носил с собой на съемку полдни, ибо советское казенное общественное

питание я — инстинкт самосохранения — отменил много лет назад и кормился только тем, что приносил из дома. Больше брать было нечего. Тут я увидел, что на лобовом стекле, под «дворниками», лежит какая-то папка. Я вылез из машины. Это оказалась та самая папка, в которой находилась рукопись неизвестного автора. Значит, литературным шедевром жулики побрезговали. Они предпочли менее духовные ценности. На душе было омерзительно, как всегда, когда тебя обворовывают, надуют, обманывают. Я открыл багажник, но там вроде было все в порядке: то ли не добрались, то ли их кто спугнул. Я стоял разозленный. Раньше вместо створенных вещей можно было купить другие. Но сейчас в стране шел особый период, когда купить ничего было невозможно. Я еще не подозревал, что через месяц, второго апреля, стоимость украденного благодаря заботам правительства как минимум утроится. Вообще я обратил внимание, что последние месяцы мы стали жить иначе, нежели раньше. Прежде, если, к примеру, рвались носки, их выбрасывали в мусоропровод и покупали новые. Теперь жена садилась вечером и старательно заштопывала дыры, поскольку приобрести новые носки было негде. В застойные времена, если изнашивались старые рубашки или, пардон, трусы, ими пользовались как тряпками для мытья машины. Теперь на них нашиваются заплатки.

Я машинально вынул из-под «дворника» чужую, не нужную мне папку, и в этот момент она случайно раскрылась. Из нее посыпались на тротуар листы. Я не успел нагнуться, как вихревой порыв ветра понес белые прямоугольники, испещренные машинописью, на мокрую, грязную, местами заснеженную мостовую. Из папки высыпалась добрая половина ее содержимого. Некоторые страницы сразу же прилипли к шинам автомобилей, мчащихся по 2-й Брестской, и уехали

навсегда и бесповоротно. Я было попытался догнать листы, да куда там! Мне удалось схватить только две или три мокрые, испачканные страницы. Остальные же сумасшедший ветер разметал в разные стороны, и листочки со страшной скоростью исчезли из моего поля зрения. Это меня как-то совсем доконало. Я выругался и, поняв, что заявлять в милицию — дело безнадежное, отправился домой...

В воскресенье вечером мне позвонила Людмила Алексеевна. Я, разумеется, рассказал ей о случившемся, о краже и о потере существенной части рукописи. И посетовал, что не смог выполнить ее просьбу. Она посочувствовала мне в том, что касалось воровства, а затем сказала буквально следующее:

— Вы знаете, Эльдар Александрович, рукопись, которую я вам передала, обладает какими-то странными свойствами, я бы сказала, необъяснимой живучестью. У меня было два случая, когда мне казалось, что экземпляр погиб, утрачен навсегда, а на следующий день повесть оказывалась на месте, целая, нетронутая, листочек к листочку. Не сочтите за труд, взгляните в папку... Может, и на этот раз все страницы в порядке...

— Но я ж сам видел, как ветер унес...

— Я верю, не сомневаюсь. И все-таки прошу вас, загляните в папку...

— Это просто смешно, — с легким раздражением сказал я и не совсем вежливо добавил: — Хорошо, подождите!

Я отыскал эту проклятую папку и открыл ее. На первом листе было напечатано заглавие: «Предсказание». Далее действительно все страницы следовали одна за другой, как и положено. Вторая шла за первой, третья за второй, четвертая за третьей и так до конца. Мне стало не по себе. Я же сам видел: исчезло немалое количество листов. Обескураженный, я

вернулся к телефонной трубке и смущенно пробормотал:

— Там, и правда, все страницы! Но этого не может быть.

— С этой вещью может! — убежденно сказала моя собеседница.

— Но это же какая-то чертовщина! — недоуменно процедил я.

— Вы правы, тут и в самом деле замешано что-то потустороннее. Так прочитаете?

Я промычал нечто, обозначающее согласие.

— Когда мне вам позвонить? — спросила Людмила Алексеевна.

— Ну, дня через три, — промямлил я.

Черт побери, я же отчетливо видел, как по меньшей мере половина этого сочинения унеслась в тартарары, в февральскую мглу. А во всяческие ведьмизмы и прочее колдовство я не верю абсолютно. Тут мелькнула мысль, что, вероятно, в папке лежали два экземпляра повести, по счастливой случайности исчез один экземпляр, а второй остался в целости и сохранности. Когда Людмила Алексеевна позвонит в следующий раз, я ее непременно спрошу об этом. Собравшись с духом, я принялся за чтение, ибо ждал, разумеется, графоманства. Однако вещь читалась легко и даже с интересом. Опус носил явно автобиографический характер, но ни с кем конкретно не ассоциировался. Я узнавал детали, места действия, известные мне личные истории, но принадлежали они все разным людям, а не какому-то единому прототипу. Я неплохо знаю писателей того поколения, которое изобразил автор, он же герой повести. Со многими дружу, с иными знаком, о некоторых наслышан. Кое-какие факты я мог отнести, скажем, к Окуджаве, другие подробности — к Войновичу или Искандеру, нечто прилипало к Аксенову или Трифонову, а действие происходит там, где живет

Горин. А то, что герой вел популярную телепередачу и его узнавали в лицо, с успехом мог бы отнести и на свой собственный счет. И все-таки, думаю, сочинитель обрисовал некий обобщенный образ или тип, не знаю уж, как точно выразиться с литературоведческой точки зрения.

Конечно, у меня возникали кое-какие подозрения по поводу личности автора, но поскольку с ним я не был знаком, то полной уверенности, что это именно он, у меня не было.

Людмила Алексеевна не позвонила ни через три дня, ни через пять дней, ни через десять. Не позвонила никогда. Я был занят окончанием фильма и сперва не вспоминал о том, что у меня на руках анонимная рукопись. На титульном листе фамилия автора не фигурировала, одно лишь название. Кроме того, не существовало обратного адреса или номера телефона этой самой Людмилы Алексеевны. Но потом работа над фильмом завершилась, и все чаще и чаще стало всплывать в моем сознании смутное чувство невыполненного долга, неясное ощущение вины. Вещь, как мне показалось, стоила того, чтобы ее опубликовали. Ибо в ней странным образом соединились мистический сюжет и наше очень реальное время, тревожное, пугающее многих, быстро меняющееся.

Я решил отдать повесть в «Юность» и позвонил главному редактору журнала Андрею Дементьеву с просьбой, чтобы он прочитал сочинение неведомого мне автора, которое я сопроводил добрыми словами. Прежде чем отнести рукопись в редакцию «Юности», надо было снять с нее копии: в журнал следовало отдать два экземпляра, а третью копию я хотел оставить себе. Так, на всякий случай. У нас на «Мосфильме» есть типография, где установлен ксерокс, и я упросил барышень скопировать мне с оригинала два

отпечатка. Когда я на следующий день заглянул в комнату, где находится ксерокс, я увидел траурные лица сотрудниц и следы весьма приличного пожара. Стены были закопчены, потолок в саже, вороха черной, рассыпавшейся под ногами сгоревшей бумаги шуршали, пачкая обувь.

— Это все случилось ночью, видимо, проводка загорелась, — сказала симпатичная Сима, которая, собственно, и согласилась помочь мне. — Я отпечатала вам два экземпляра, но они сгорели вместе с кучей сценариев, приказов и всего остального. Вроде сама копировальная машина не очень пострадала.

— А оригинал рукописи тоже сгорел? — спросил я напрягшись.

— Это просто какое-то чудо! Папка лежала на окне, и пламя ее не коснулось. Вот оригинал в целостности и сохранности.

И Сима протянула мне бессмертную папку. Я почувствовал, как дрожь пробежала по моей спине.

Я поблагодарил, сказал какие-то добрые слова погорелицам и выкатился весь в поту. Конечно, можно считать все эти случаи счастливыми совпадениями, но все же, все же... Я решил поскорее избавиться от рукописи, отвез ее в редакцию журнала и вручил в собственные руки главному редактору.

Через некоторое время, прямо скажем, не короткое, Дементьев пригласил меня для разговора.

— Мы решили опубликовать вашу вещь в первом номере девяносто второго года. Раньше мы не успеем, поскольку печатаем большой роман Василия Аксенова. Просто нет места.

— Спасибо. Но это не моя вещь.

— Что значит не ваша? — опешил Андрей Дмитриевич.

Я рассказал, как рукопись попала ко мне.

Андрей Дмитриевич слушал меня недоверчиво, считая мои слова рассказнями и фантазиями и не понимая, зачем мне все это нужно.

— Так вы что, хотите напечатать вещь под псевдонимом? Нас это не устроит. Нам в интересах подписки нужно, чтобы повесть вышла под фамилией автора, то есть под вашей. — Тон редактора был непреклонен. — Мы дадим хорошую рекламу. Мы не хотим терять подписчиков.

— Но на рукописи нет моей фамилии, — сказал я.

— Ошибаетесь!

И Дементьев протянул мне заветную папку. На титульном листе, над названием, было напечатано: «Эльдар Рязанов». Я сразу определил, что напечатано на той же пишущей машинке, что и весь остальной текст повести.

Опять я почувствовал, что соприкасаюсь с чем-то бесовским, необъяснимым, перед чем я бессилён.

— Хорошо, — покорно сказал я. — Но тогда я предварю вещь предисловием, в котором объясню, что это писал не я, расскажу, как повесть попала ко мне и про странности, которыми сопровождалась вся эта дьявольщина.

— Делайте, что хотите. Это ваше авторское право. Были в истории литературы «Повести Белкина», «Театр Клары Гасуль» и еще многое другое, — сказал главный редактор, — Все равно мало кто поверит, что «Предсказание» написали не вы.

После этой беседы стало ясно: или вещь придутся опубликовать под своим именем, или она будет похоронена. Я выбрал первое.

Далее публикуется то, что оказалось в папке, переданной мне Людмилой Алексеевной промозглым февральским вечером.

Эльдар РЯЗАНОВ

После ливня летний лес в испарине.
Душно. К телу липнет влажный зной.
Я иду, а мне навстречу парень,
он черноволосый и худой.

Он возник внезапно из туманности
со знакомым, близким мне лицом...
Где-то с ним встречался в давней давности,
словно с другом, братом иль отцом.

Время вдруг смутилось, заколодилось,
стасовалось, как колода карт...
На меня глядела моя молодость —
это сам я сорок лет назад.

Головой кивнули одновременно,
посмотрели пристально в глаза.
Я узнал родную неуверенность,
о, как мне мешали тормоза.

На меня взирал он с тихой завистью,
с грустью я рассматривал его...
В будущем его, я знал безжалостно,
будет все, не сбудется всего.

Он застенчив, весел, нет в нем скрытности,
пишет безысходные стихи...
Я провижу позднее развитие,
Я предвижу ранние грехи.

Будут имя, фильмы, книги, женщины...
Только все, что взял, берешь ты в долг.
И когда приходит время сменщика,
то пустым уходишь в эпилог.

Главное богатство — это горести,

наживаешь их из года в год!
Что имеет отношенье к совести,
из печалей и невзгод растет...

Он в меня смотрелся, словно в зеркало,—
отраженье было хоть куда!
Лишь бы душу жизнь не исковеркала,
если остальное — не беда.

Слушал он, смеялся недоверчиво,
сомневался в собственной судьбе...
Прошное и нынешнее встретилось!
Или я немного не в себе?

Попрощались мы с улыбкой странною,
разошлись и обернулись вслед...
Он потом растаял за туманами,
будто его не было и нет.

Только капли россыпями с дерева
шлепаются в мокрую траву...
Мне, пожалуй, не нужна уверенность,
было ли все это наяву?

Глава первая

Думая о том, как начинать эту повесть, в какой манере ее писать, я понял, что никакого литературного пороха не изобрету. И очень огорчился. В глубине души я давно знал про себя, что стал совсем консервативен. А сейчас окончательно в том убедился. Черт побери, я самый настоящий традиционалист. А в наши дни это особенно отвратительно! У меня не получается, чтобы фраза обгоняла фразу, чтобы одна мыслишка налезала на другую, подминая предыдущую. Я не умею сочетать в одном предложении несочетаемое, сшибать нескладные противоположные ассоциации. Кажется, подобный стиль называется «потокосознанием». Когда я читаю литературу «потока сознания», я восхищаюсь буквально всем: и якобы случайным нагромождением одних и тех же слов, и нарочитой неряшливостью эпитетов, и свободными ассоциациями, причинность которых может быть понятна одному только автору, да и то вряд ли. Впрочем, все это не имеет значения, ибо важна не мысль, а нагнетание речи, повторение глаголов или прилагательных до невероятного количества, в результате чего что-то рождается или не рождается. В конце концов не в смысле дело. Мне особенно нравится фраза типа «шел дождь и два студента». Ведь написано это совсем не от неграмотности и отнюдь не от бескультурья. Поскольку писатель не может не знать букваря, грамматики и синтаксиса, следовательно, все сделано им сознательно, в полете новаторства, для обновления языка. Но те читатели, которые считают, будто писатель, выражаясь подобным образом, на самом деле думает, как пишет, считают неправильно. Так думать противоестественно. Это все равно что правой рукой

чесать левое ухо. За эдакой манерой письма стоит тяжелая работа, каторжный писательский труд, страшный отбор словес, в результате которого будто бы и рождается беспечная моцартовская легкость рассказа, переходящая не то в свежий стиль, не то в оригинальный авторский почерк, не то в нечто новое, чему еще нет названия. Короче, мне это не по плечу, не под силу. У меня так писать не выходит. То ли нет потока, то ли неважно с сознанием. Меня душат логика, смысл и обстоятельность, что сейчас никому не интересно. Требуется непосредственная, наивная словесность, вроде бы неорганизованная, лишенная закономерности, вне правил и, главное, не совсем понятная. Ибо раньше в нашей литературе было понятно все и даже чересчур, а это надоело. Однако пора кончать с тем, что не имеет отношения к сюжету...

Я решил поведать о странной истории, которая приключилась со мной, но мешает то, что я не знаю, как к ней подступиться. Писать по-старому — никто читать не станет, кроме старичья, а по-модному не умею. Но история весьма фантаσμαгорическая, и не рассказать ее жаль. Так и тянет начать: «В то серое, осеннее утро я возвращался из Ленинграда. «Красная стрела» подползала к перрону. Поезд — это стало обычным в последние месяцы — опоздал на два часа...» Но придется себя переломить и начать как-нибудь пооригинальнее. Или вообще начать без начала, откуда получится...

У меня с собой был тяжелый чемодан с редкими книгами. Я купил их в Ленинграде у одного дантиста, который намылился уехать в Израиль и поэтому распродал все. Он не верил в будущее страны и боялся погромов. Он решил бросить все, чтобы его дети росли на свободе, в сытости и безопасности. И за это его не стоит осуждать, ибо у него имелись основания для беспокойства. Внешность его, и у детей тоже, была,

что называется, ярко выраженной. Как говаривала моя покойная жена, «такая внешность — пособие для антисемитов». Дантист продавал книжки за бешеные деньги, но, хоть спасибо, за советские. Поскольку рубли уже не деньги, а книжки, наоборот, еще книжки, я без сожаления отдал за них все, что заработал в Ленинграде творческими встречами. Казалось, гонорары мне платили немислимые, но это только казалось до первой же встречи с жизнью.

Носильщик, на тележке которого было выбито, что цена одного места стоит 30 копеек, заломил 30 рублей. Мне уже за шестьдесят, и врач запретил таскать тяжести. Я попробовал поторговаться, но носильщик понимал, что имеет дело с вшивым интеллигентом. Пришлось покориться. Носильщик повез мой многопудовый чемодан по перрону, ловко объезжая пассажиров и группки спецназовцев с автоматами. Видно, солдаты несли караул на вокзале. Среди пассажиров «Стрелы» было немало знакомых, и я все время с кем-то раскланивался. Внезапно я встретился глазами с молодой цыганкой. У нее на руках хныкала запаршивевшая девчушка лет двух. В конце перрона на тюках и чемоданах жил целый табор. Мне показалось, что там даже горел костер, на котором в котелке что-то варилось.

Недаром говорят, что не надо смотреть цыганам в глаза. Через секунду цыганка уже вертелась около меня.

— Шеф, дай Бог тебе здоровья... Видишь, дочка у меня больная... Позолоти ручку, сделай доброе дело...

Пока я доставал кошелек, ко мне подскочила еще одна цыганка, чуть постарше, с тяжелым, но красивым и значительным лицом. Не успел я раскрыть бумажник, как красненькая десятка мгновенно перекочевала в руки молодой мамыши:

— Спасибо, начальник, душа у тебя хорошая!.. Зачтется тебе!..

Я попытался было пуститься вдогонку за носильщиком, но другая цыганка властно схватила меня за руку.

— Давай погадаю тебе, молодец, все поведаю... И про прошлое, и про то, что ожидает тебя. Не скупись, супермен ты мой ненаглядный...

Я заметил, что цыганки взяли на вооружение вместо старинных слов «барин», «красавец» новые, современные.

И не успел я очухаться, как красотка-гадалка с ловкостью необыкновенной выхватила из моих рук двадцатипятирублевую купюру.

— Эй-эй! — только и сумел воскликнуть я.

Но цыганка воспаленными глазами, в которых сверкало что-то колдовское, уже изучала линии моей ладони.

Я оглянулся: носильщик с моим чемоданом скрывался в привокзальной толпе. Я попытался вырваться, но предсказательница держала меня мертвой хваткой.

— Было у тебя две жены, с одной развелся, другая померла... Дочь у тебя есть от первого брака... Внучка трехлетняя...

Цыганка говорила правду, но я не очень-то изумился. Все-таки человеком был достаточно известным, несколько лет вел по телевидению популярную литературную передачу, многие меня узнавали в лицо. Обо всем этом цыганка могла иметь представление.

— Ждет тебя встреча с незнакомой женщиной...

— Женщина, конечно, красивая и молодая? — с иронией поинтересовался я. — Вроде тебя?

Действительно, глядя на ее смуглую, дьявольскую, восточную красоту, можно было понять предков,

которые из-за цыганок пускались во все тяжкие.

— Зря насмешничаешь, — хриплым голосом сказала гадалка. Вдруг посмотрела на меня нежно, улыбнулась. Лицо ее преобразилось и стало домашним, притягательным. — Был бы ты помоложе, да позвал бы меня, я бы... — Потом она снова перешла на профессиональный тон пророчицы: — Женщина будет молодая и красивая. Любовь у вас вспыхнет, но недолго продлится... Потому что...

Тут цыганка вдруг нахмурилась и замолчала.

— Продолжай, — сказал я и еще раз попытался обнаружить своего носильщика, но тщетно. Он исчез.

— Не стоит, барин. Тут что-то невнятное. Ступай своей дорогой. Не вышло у меня с тобой гадания...

Я уставился в ее бездонные глаза. Цыганка уклончиво отвела взгляд.

— Говорить не хочешь? Что-то неприятное разглядела?

— Не пытай, ясный сокол. Зачем тебе знать? — Голос у гадалки, несмотря на хрипотцу, был грудной, низкий, таинственный.

Я поневоле забеспокоился.

— Что на роду написано, того не миновать, — настаивал я. — Не скрывай. Но ведунья отпустила мою ладонь и хотела отойти. Тогда я схватил ее за локоть.

— Давай выкладывай! Я человек: крепкий. Не испугаюсь... Да и потом это все так... слова...

Гадальщица еще раз посмотрела на линии моей руки и вдруг сказала медленно, да таким голосом, что мороз пробежал по моей спине:

— Жить тебе осталось одни сутки. Завтра в это же время... — И цыганка цокнула языком, давая понять, что завтра в это время я откину копыта. Я машинально посмотрел на часы. Было без двадцати одиннадцать.

— Ну ты даешь, — попытался усмехнуться я. — Что же, на руке и день, и час обозначены?..

— И день, и час, — как эхо, повторила гадалка.

— От чего умру, не знаешь? — Я пытался ерничать, хотя, честно говоря, мне было не по себе.

— Должно быть, убьют. Видно, в роду у вас так повелось... Отца-то твоего тоже убили... — угасшим голосом молвила ворожея и с сомнением — «братъ или не братъ» — посмотрела на двадцатипятирублевку. — Зря ты из меня это вытянул...

— Да я все равно не верю, — храбрился я. — Деньги себе возьми. Мне до завтрашней смерти хватит того, что осталось.

— Я правду говорю, — вдруг обиделась цыганка и спрятала деньги. — Знай: через час у тебя такая встреча случится, каких еще не было ни у кого... Тогда попомнишь мои слова...

— С чертом, что ли? — Я махнул рукой и направился в сторону, где исчез носильщик. Досада не покидала меня. Отдать двадцать пять рублей, чтобы узнать такую пакость, — вот маразм! Я, конечно, ни в грош не ставил ворожбу цыганки, но все равно было противно.

Кому я сдался, чтобы меня убивать?.. Если грабителю, алкашу или приедем из провинции юнцам-налетчикам, то тут, конечно, никто не застрахован... Если же речь идет о Головорезе с большой буквы, то людей побогаче меня тьма-тьмущая... Да и для рэкетиров я не представлял интереса — так, мелкая сошка. Внезапно я вспомнил своего соседа по поезду — парня лет эдак тридцати, с длинными, как у женщины, пшеничными жирными волосами, которые хотелось срочно помыть. Рыжеватая редкая неряшливая борода обрамляла круглое прыщавое лицо. Мы стояли в коридоре вагона, по радио гремел бравурный радостный марш, очевидно, передающий оптимистические чувства пассажиров, прибывающих в столицу. Прыщавый вдруг вступил в разговор:

— Был я вчера на вашей встрече с читателями...

Я тщеславно обернулся к нему, ожидая комплимента, — честно говоря, был избалован вниманием. Но услышал совсем другое:

— Зря вы так резко о нас высказались! Лично вам-то что наша партия плохого сделала?

Вчера, получив из зала записку с вопросом, что я думаю о Национал-Российской патриотической партии, я ответил, что считаю их фашистами, что они представляют серьезную опасность для страны, что если, не дай Бог, они придут к власти, я тут же отправлюсь в эмиграцию, если успею, конечно...

Я сухо ответил прыщавому попутчику:

— Сказал то, что думаю.

— Понимаю, — кивнул прыщавый. — Только время говорить, что думаешь, кончается. Опасно. А вы вчера речь вели неосмотрительно, неосторожно. Мы ведь все фиксируем, запоминаем...

— Не сомневаюсь, — перебил я его и отвернулся.

— Не пожалеть бы вам, — безразлично произнес пассажир. Отсутствие угрозы в его интонации как раз и содержало угрозу...

Я отогнал эту картинку, вдруг вспыхнувшую в памяти, и помотал головой. Вообще в последнее время я стал получать на публичных встречах оскорбительные записки, вроде такой: «Горюнов — сын жидовки и эсэсовца». Иногда звонили по телефону, ругались матом и предавали меня анафеме за то, что я продался сионистам. Я еще не привык к проклятиям, и от этого у меня портилось настроение...

Усилием воли я стряхнул с себя все неприятное, что нахлынуло после встречи с цыганкой, — не хотелось погружаться в хандру.

Выйдя на привокзальную площадь, в центре которой дежурили два бронетранспортера и группа ОМОНовцев в пластиковых шлемах, я обнаружил своего носильщика. На такси стояла огромная очередь, но

носильщик своими путями уже раздобыл мне машину (там у них одна мафия). Как я понял, в тридцатку входило раздобывание автомобиля. И хотя от трех вокзалов до Пушкинской площади, где я живу в доме, в котором разместился магазин «Армения», всего несколько километров, шофер запросил с меня полсотни.

— Да туда по счетчику два рубля, — взбеленился я.

— А на метро пять копеек, — невозмутимо парировал таксист. — Но в метро забастовка. А на такси очередь.

Я посмотрел в сторону вестибюля метрополитена. Двери были закрыты, никто не входил в вестибюль и не выходил из него.

— Давно бастуют?

— Третий день. Так как? Поедете? Скажите спасибо, что долларов не требую...

Я покорно полез в машину. Тем более что трое усатых чернявых кавказцев уже били копытами в ожидании того, чем кончится моя беседа с мародером-таксистом. Они были готовы заплатить любые деньги — это у них было начертано на физиономиях.

Во дворе я первым делом бросил взгляд на свою «Волгу». Она стояла на месте, покрытая рябым слоем пыли, из чего понял, что ночью капал дождь.

У парадного дежурила «раковая шейка» с мигалкой на крыше. Впрочем, кажется, их сейчас так уже никто не называет. Ведь конфет «Раковая шейка» не выпускают миллион лет, их, наверное, и не помнят. Да и на милицейских машинах перестали красить на кузове красную полосу.

— Что в доме случилось? Убили кого-нибудь? — спросил я у лейтенанта, который сидел за рулем и читал книгу. Я его запомнил, ибо читающий милиционер — явление нечастое. При этом я поймал себя на том, что время изменило мою психологию. Несколько лет назад

мне бы не пришел в голову вопрос об убийстве. Я бы поинтересовался: «Кого-нибудь ограбили?..»

— Квартиру обчистили! — обронил блюститель, не отрываясь от чтения. — На четвертом этаже.

Я облегченно вздохнул:

— Я на седьмом живу... Меня не было несколько дней, а дома никого...

— Читайте, что вам повезло, — усмехнулся милиционер. — Лифт не работает.

Я чертыхнулся. Пришла мысль попросить таксиста поднять чемодан, но такси уже умчалось.

За те пять дней, что я отсутствовал, почты набралось порядочно. Я опорожнил почтовый ящик и сунул всю пачку прессы в карман плаща.

Когда я пер тяжеленный, будто набитый свинцом, чемодан на свое «седьмое небо», поток сознания захлестнул меня. Правда, он сопровождался потным потоком, который тек мне за шиворот.

Зачем я тащу проклятую тяжесть? Я все равно не успею прочитать эти книги, загнусь раньше. Господи! В детстве в публичных библиотеках — я был записан сразу в нескольких — я стоял в очередях, чтобы прочитать хорошую книгу, а теперь у меня дома своя роскошная библиотека. И книги стоят в очереди ко мне, ждут, когда я их прочту. А я не успею их прочитать. Книг много, а времени жить мало.

На третьем этаже я уселся на чемодан, чтобы передохнуть. Я сидел и вытирал платком пот.

Тем более если я сдохну завтра утром, как обещала гадалка, то зачем мучиться сегодня? И вообще если предсказание цыганки — правда, надо успеть сделать неотложные дела. Тут я себя одернул: что за хреновина лезет в голову! Кого же на четвертом этаже ограбили? Все-таки хорошо, что я установил железную дверь, — спасибо кооператорам! Может, это защитило... А что если бросить чемодан с книгами здесь, а то, глядишь,

пророчество сбудется прямо сейчас, досрочно. Все-таки старость — большая мерзость!

С четвертого этажа спускались милицейский фотограф и какой-то хмырь в штатском.

— Много взяли? — спросил я.

Они с любопытством оглядели меня.

— Пока не ясно. Хозяева на курорте, — сказал штатский.

— Главное — всю мебель порезали, посуду побили, нагадили везде... — добавил фотограф. — А вы, Олег Владимирович, тоже в этом доме живете?..

Работа на телевидении сделала мою жизнь одновременно в чем-то приятной, а в чем-то несносной. Иногда было лестно, что тебя знают в лицо, а иногда это раздражало. Сейчас я был раздосадован — я не любил, чтобы меня наблюдали в минуты слабости.

Я буркнул что-то утвердительное и с молодецким видом оторвал чемодан от пола. Думал-то я про чемодан (не бросить ли его тут, на лестнице?) логично, но характер у меня был, пожалуй, сильнее моих же умственных способностей. Он победил разум и на этот раз. Сердце у меня колотилось, пот заливал глаза, но я упрямо продолжал восхождение.

— Было бы мне сейчас лет двадцать пять! — вслух выдохнул я.

— И что бы было? — полюбопытствовал сбегавший вниз майор милиции.

— Было бы все! — сказал я, выпустил из рук непосильный груз и, тяжело дыша, привалился к перилам. — Улики есть?

— Кое-что нашли. Хотя орудовали в перчатках. — И майор исчез.

На четвертом этаже дверь в квартиру Кустовского была открыта, в прихожей возились какие-то люди, видно, из угрозыска, на площадке дежурил милиционер. Дома у Кустовского я никогда не бывал, но

знал, что он много лет работал представителем «Совэкспортфильма» за границей. Думаю, что поживиться у него было чем. Так думали, вероятно, и те, которые поживились...

Теперь очередные передыхи происходили после каждого лестничного пролета, через каждые полэтажа. Когда я, весь в собственном соку, устроил привал между пятым и шестым этажами, вниз, постукивая каблучками, сбегала хорошенькая барышня, которая жила рядом со мной. Увидев меня в столь непрезентабельном виде, она предложила:

— Давайте я вам помогу, Олег Владимирович...

При мысли, что молодая привлекательная женщина потащит наверх мой чемодан, я вспотел еще больше. Я ведь пытался изображать, что я еще «ого-го»! Репутация балагура, весельчака, жизнелюба требовала определенного ответа, легкого и непринужденного. Я тут же рассказал анекдот:

— Мужчина насильно ввел женщину в подворотне. Та закричала: «Помогите! Помогите!» Мужчина удивленно уставился на нее и сказал: «Что вы кричите? Может, я еще сам справлюсь!»

Соседка засмеялась, а я добавил:

— Спасибо. Я еще сам справлюсь!

Номер был беспроектным. Я им неоднократно пользовался в аналогичных ситуациях. Хотя сейчас я не был уверен, что справлюсь сам с чемоданом, а тем более с женщиной.

Наконец я оказался у собственной двери. Отперев два замка, я из последних сил впихнул ненавистный чемодан в прихожую, уселся на стул и стал звонить в охрану.

— Пульт! — услышал я из телефонной трубки.

— Добрый день! — поздоровался я.

— Здравствуйте, Олег Владимирович, приехали?

Это была Таня Королева, одна из барышень, дежуривших на пульте охраны квартир. Она всегда узнавала меня по голосу. Кроме того, она была моей почитательницей, знала все, что я налудил в прозе и в стихах. Я ее никогда не видел, но у нас было нечто вроде телефонного романа. После смерти жены мне не хватало тепла, а манера Таниного разговора напоминала чем-то интонацию Оксаны. Мы иногда с Таней болтали, но недолго, потому что она находилась на службе и не могла занимать телефон, да и у меня никогда не было свободного времени. Я совершенно не представлял себе, какая она. Толстая, худая, высокая, симпатичная, уродливая? Единственное, что было ясно, — молодая.

— Слава Богу, приехал... — ответил я.

— Как прошли ваши встречи?

— Битком было. Не понимаю, кому в такое время интересно встречаться со старой развалиной... Обломком застоя...

— Да вы что, Олег Владимирович! Я бы обязательно пошла!

— Спасибо, Танюша. Просто вы ко мне необъективны. Снимите, пожалуйста, с охраны.

— Отдыхайте! Всего доброго! С охраны сняла! — И Таня повесила трубку.

— Хорошо все-таки дома, — произнес я вслух и улыбнулся.

Вынув из кармана плаща почту, я вошел в комнату. Письма от читателей, от редактора моей книги из Англии, приглашения из двух посольств, билет на открытие вернисажа, приглашение на премьеру нового фильма, анонимка с ругательствами...

И вдруг я вздрогнул. Я почувствовал, что в комнате не один, что тут находится еще кто-то. Я поднял голову. На кожаном диване, развалившись, сидел молодой человек в перчатках и смотрел на меня. Я уставился на

него. На вид ему было лет двадцать пять. Лицо его мне показалось знакомым, даже очень знакомым. Я его явно где-то видел раньше, но где? Испуг волной прошел по моему телу. Я почувствовал, как от страха затрепыхалось сердце. Оно забилось противно и подло. Присутствие чужого человека оказалось слишком неожиданным. И вообще я всегда подозревал, что я трус. Смел я только в одном: лепить правду матку — и в книгах, и в статьях, и в выступлениях. Тут я почему-то ничего и никого не страшился. Говорил такое, что не понимал: почему меня не уводят в наручниках? Но когда я представлял свою персону в сталинских застенках, то, по совести говоря, побаивался, что вел бы себя недостойно, всех бы оговорил, все бы подписал, потому что боль выношу плохо. Хотя порой мне казалось, что я бы выдюжил, не спасовал и стоял бы насмерть. Но Бог миловал от подобного испытания. Когда бушевали великие репрессии, я был пацаном...



Молодой человек улыбался, глядя на меня. Улыбался приветливо и даже дружелюбно. Меня все равно чуть подташнивало от унижительного и беспомощного чувства ужаса. Почему он в перчатках?

Это один из тех, кто ограбил Кустовского? Но как он проник сюда? Квартира на охране. Я бросил взгляд на балконную дверь, которая была тоже подсоединена к пульту охраны. Дверь заперта, стекло не разбито.

— Что ж ты так перепугался? — вдруг сказал молодой человек. Голос мне тоже показался знакомым. — Не робей!

— Кто вы? — хрипло спросил я.

— Не узнаешь? — Он рассмеялся. — Жаль...

Неожиданно паника прошла. Я даже удивился хладнокровию, охватившему меня. Может, меня успокоил голос пришельца, но не думаю. Между нами, последнее время я готовил себя к тому, что в любой момент могу встретиться с грабителем, уголовником, убийцей. Я раньше проигрывал в уме разные ситуации подобного рода. Страна находилась в безумии, в преддверии гражданской войны, и всякая нечисть повывлезала из всех щелей. Вообще-то война уже шла на окраинах империи. Все мы ждали, когда она явится в Россию. Я приучал себя к мысли, что пожил достаточно, пора и честь знать. Внушал себе, что, если придется умирать, постараюсь уйти достойно. Коли вдуматься, ничто меня не держит на этой земле. Разве только желание пожить еще. Но в конце концов надо уметь обуздывать свои желания.

— Что вам здесь надо? Как вы сюда вошли? — спросил я.

— Садись, поговорим, — ответил незнакомец и пошутил: — Чувствуй себя как дома.

Что-то унижительное было в том, что я обращался к нему на «вы», а этот сопляк тыкал мне. Тут я вспомнил, что у меня в письменном столе лежит газовый револьвер, который я привез из Германии. По счастью, таможня тогда не проверила меня. Я рванул в кабинет и открыл ящик письменного стола. Револьвера не было!

— То, что ты ищешь, у меня в руках, — слышался насмешливый голос из гостиной, — Я боялся, что ты в меня с испугу пальнешь, и забрал эту игрушку.

Я вернулся и увидел в руках пришельца мой газовый револьвер. Он небрежно положил его на журнальный столик и сказал:

— Можешь взять. Мне он не нужен.

Я медленно тянул руку за оружием, не сводя глаз с визитера. Он улыбался. Я схватил пистолет.

— И что ты будешь делать дальше? — лениво спросил непрошенный гость и добавил: — Слушай, обращай ко мне на «ты», а то ерунда получается.

Я подумал, что он вынул из барабана патроны, и быстрым движением проверил. Револьвер был заряжен.

— А ну, пошел отсюда! — Я наставил дуло на незнакомца и держал под прицелом. — А то выстрелю.

Я знал, что не промахнусь. Я часто тренировался в тире. Раньше просто так, а последнее время делал это с двойным прицелом, то есть с двойным смыслом.

— Спасибо, что уважил мою просьбу и перешел на «ты», — спокойно сказал молодой человек, достал пачку «Мальборо» и закурил.

— Не предлагаю тебе, потому что ты уже десять лет как не куришь.

В поведении этого парня, в мирной его интонации было что-то такое, что сбивало меня с толку. Кроме того, лицо его было до жути знакомым. И потом, я действительно десять лет назад бросил курить. Я отвел револьвер и присел на подлокотник кресла.

— Так и не узнаешь? — спросил неизвестный. Он достал из кармана фотографию и протянул мне. — Чья это карточка? — спросил он.

Я посмотрел и узнал на фотографии себя, лет эдак тридцать с лишним назад.

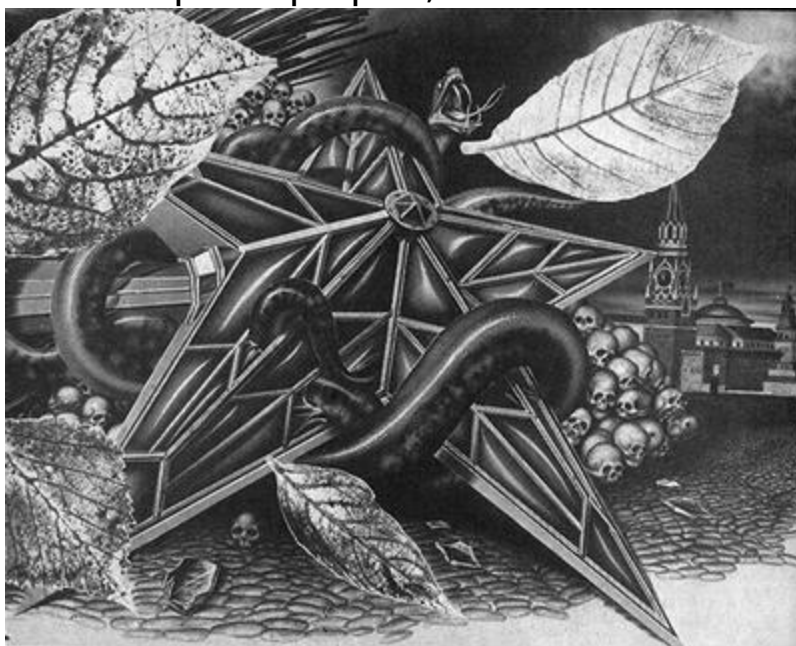
— Моя, — пожал я плечами.

— Вовсе нет. Карточка снята японской камерой. На ней напечатана дата. А когда тебе было двадцать пять лет, этого технического достижения еще не существовало.

Внизу на изображении виднелись белые цифры 20.8.90, значит, снимок был сделан два месяца назад.

— Двадцатое августа — день моего рождения, — сказал я.

— И моего, — сказал парень. — Только годы у нас разные. Это я на фотографии, а не ты.



Он подошел к книжной полке и вынул из-за стекла мою карточку, где я был снят в 1953 году в день своего рождения. Я переводил глаза с одного снимка на другой. Было совершенно очевидно, что на обеих фотографиях один и тот же человек. Я тупо рассматривал два своих изображения — костюмы были разные, прически были разные, фотографическое исполнение было разным, но, без сомнения, и на той, и на другой карточке был снят именно я.

Переведя взгляд на незнакомца, я понял, что он до жути похож на тогдашнего меня. С успехом можно было сказать, что не я изображен на снимках, а он.

— Тебе цыганка на вокзале предсказывала необыкновенную встречу? — спросил мой молодой двойник.

Опять озноб пробежал у меня по спине. Пытаясь выстроить логическую цепь, я промычал нечто невразумительное.

— Так вот, она имела в виду меня. Ты ведь не завтракал в «Стреле». Идем перекусим.

Я покорно поплелся за ним на кухню, где был накрыт завтрак на две персоны.

— Надеюсь, ты не будешь возражать, если я тоже позавтракаю?

Он хозяйничал на кухне без всякого стеснения. Достал из холодильника бутылку кефира и разлил по стаканам, потом поставил на плиту вариться четыре яйца, наполнил чайник водой и водрузил его на конфорку.

На столе я увидел записку от Терезы, написанную крупными печатными буквами. Тереза помогала по дому еще при Оксане и досталась мне по наследству. Сама она была из немок Поволжья и, хотя всю жизнь прожила в России, по-русски писала с вопиющей неграмотностью, а немецкого не знала вовсе. Тереза была полуслепая старуха, добрая, старательная, и без нее я бы совсем пропал. Она готовила, делала постирушки, убирала квартиру, стояла в очередях.

«МАЛАКА Я НЕ ДОЗТАЛА НА АБЕТ КАТЛЕТЫ И
ГРЕШНЕВА КАША СУПА НЕИСЧЕВА ДЕЛАТЬ
БАЛЬШИ ОЧИРИДИ ИЗТРАТИЛА 20 РУБЛЕЙ 16
КОП.».

У нее была катаракта, и я договорился с самим Федоровым, что ей на днях сделают операцию в его клинике. Она знала, что я прибуду сегодня, и накануне, видно, сходила в магазины, чтобы я не ввалился в

квартиру с совсем уж пустым холодильником. Но думал я, разумеется, не о Терезе. Мой молодой двойник тем временем сунул в тостер ломтики хлеба. Я лихорадочно пытался вспомнить свои романы, которые у меня случились лет тридцать семь назад. Но вспоминалось туго. Не то, чтобы их у меня совсем не было и не то чтобы их было чересчур много. Просто прошла такая уйма лет. Я был убежден, что этот парень, конечно, мой сын, о существовании которого я попросту не подозревал. Сходство между нами ошарашивало. В 1951 году я женился первый раз и, что там греха таить, не очень-то был верен супруге. Как журналист я много ездил по стране и, конечно, бывало всякое.

— Как звали твою мать? — спросил я предполагаемого сына.

— Твои размышления, что я твой незаконный отпрыск, глубоко ошибочны, — с иронией сказал незнакомец, положил на тарелку два хрустящих тоста и стал сыпать в чашки растворимый кофе. — Ты думаешь по шаблону. А что сказала цыганка? Что у тебя будет такая встреча, каких еще ни у кого не было.

— Ты что, действительно черт? — усмехнулся я. — Вельзевул, Воланд?..

— А тут ты думаешь литературно и тоже по стереотипу. Нет. И для убедительности могу показать свои конечности: копыт, рогов, хвоста — ничего нет. А мать мою звали так же, как и твою, — Белла Моисеевна. И отца моего звали так же, как и твоего: Владимир Иванович. Ты ешь...

Я машинально начал прихлебывать кефир. Столбняк, в котором я находился, не проходил, а, наоборот, становился еще более столбнячным.

— Слушай, я ничего не понимаю, — жалобно сказал я. — Чего тебе от меня надо? Кто ты? Зачем ты здесь?

— Ничего не утаю, — ответила моя молодая копия. — Все расскажу. Но сначала позавтракаем.

Налегай, Олег.

— Ты тоже давай. — Я вспомнил, что все-таки я здесь хозяин. — Не стесняйся. Как тебя зовут?

— Олег. По отчеству Владимирович.

— Это я Олег Владимирович, — возразил я.

— И я тоже. Так уж вышло, что нас двое.

— Так не бывает.

Он засмеялся.

— Пощупай меня. Убедишься, что я из обычной человеческой плоти.

Чего там было его щупать. Он жрал с таким аппетитом, что подозрения насчет его нечистого, дьявольского происхождения отпадали сами собой. Я невольно смотрел на него с удовольствием. Все-таки я был хорош в его годы: строен, густые черные волосы, горящие карие глаза. Смахивал на американского героя-любовника. В общем, посмотрев на себя в молодости, я остался доволен. Не то что сейчас — погрузневший, полысевший, с потускневшим взглядом, со всякими возрастными болячками и хворями. «Господи, что с нами делает жизнь!» — мысль хоть и банальная, но все равно верная.

— Значит, ты хочешь сказать, что ты — это я? — подытожил я наше знакомство и тоже принялся с аппетитом жевать.

С аппетитом у меня вообще всегда было хорошо. Я не хотел есть только в одном случае — когда температура поднималась за 38. Если я не испытывал чувства голода, значит, у меня высокая температура, градусником можно было не проверять.

— Я твое точное повторение, только из другого времени. У нас с тобой все одинаково, кроме возраста. Я родился в 1965-м.

— Но мать и отец тогда уже умерли.

— Они умерли в этой жизни, но они продолжали и продолжают жить в другой.

— В загробной, что ли? — с ехидством спросил я.

— Ты примитивен, как все вы, изуродованные материализмом. У жизни множество измерений, ты даже не подозреваешь, сколько. Но пойми, я тебе не только не сын, но и не брат. Я — твой дубликат, точное воспроизведение...

— Но это же мистика.

— Да, — согласился он, — только у вас мистика — ругательное слово. А на самом деле...

— Но такого не бывает, — перебил я его.

— Бывает. И не такое. Ты даже не подозреваешь, что бывает. Слушай ты, атеист, материалист, марксист...

— Я не марксист, — открестился я.

— Но все равно — безбожник! Не ломай голову, а то еще свихнешься. Тебе это не по разуму. Принимай мое существование как данность. Или, если хочешь, не принимай. Тогда расстанемся — я уйду сразу после завтрака. Но ты же сам пожалеешь.

Некоторое время мы завтракали молча. Я лихорадочно думал. В существование летающих тарелок я в последнее время начал не то чтобы верить, но стал допускать эту возможность. Очень уж много и часто про НЛО говорили и показывали по «ящику» людей, которые общались с инопланетянами. Они так убедительно ввали, сообщая всяческие подробности, что я стал колебаться в своем прежнем неприятии. И тут я ухватился за соломинку, решив, что, может, передо мной какой-нибудь внеземной прохиндей, принявший мой прежний облик. Это было, пожалуй, единственное логичное объяснение той хреновины, которая внезапно возникла в моей жизни.

Следующая фраза моего визави только подтвердила предположение.

— Ты думаешь, что я свалился с летающей тарелки и влез в твою молодую шкуру. Опять ошибаешься.

«Как же, ошибаюсь! — подумал я про себя. — Он же отгадывает мои мысли. Он их прямо-таки читает...» А я слышал, что инопланетяне владеют этой способностью.

— И тем не менее ты не прав. Можешь, конечно, мне не верить. — Диалог у нас получался, прямо скажем, удивительный: я думал про себя, а он отвечал мне вслух. — Ну, как тебе доказать, что я — на самом деле ты. И при этом живой — с человеческой кровью и натуральными потрохами?

В этот момент в дверь позвонили. Я испуганно дернулся, так как никого не ждал.

— Иди открывай, — глядя на меня насмешливо, произнес мой двойник. — И не думай, что там пришли мои сообщники, чтобы тебя пришить и ограбить.

Я покраснел. Он опять угадал мои мысли. Ощущение, что тебя видят насквозь, было непривычным и, что там греха таить, очень неудобным. Я чувствовал себя так, будто я голый. Я еще раз посмотрел на гостя и нерешительно направился к входной двери. Прильнув к глазку, я увидел на площадке человека в милицейской форме.

— Это не переодетый, а настоящий, — услышал я голос из кухни и, решив больше ничему не удивляться и не сопротивляться, отпер дверь.

Несколько лет назад по Москве пронесся слух, будто меня ограбили. Оксана тогда еще была жива. Рассказывали, будто бы я в своем подъезде наткнулся на полуодетую плачущую женщину, которая, рыдая, сказала мне, что ее только что раздели хулиганы, что она просит приютить ее. И я — у меня репутация добряка — привел ее, согласно байке, в дом, даже дал ей халат жены. Так мне рассказывали! Жертва ограбления попросила у меня позволения позвонить мужу, чтобы он приехал за ней. А через десять минут после ее телефонного разговора раздался звонок в дверь. Ничего не подозревая, я открыл замок. На пороге

стояли двое верзил, один из них огрел меня железной трубой, я рухнул. Квартиру обчистили полностью, а меня отвезли потом в реанимацию. Самое главное, что находились люди, которые навещали меня в больнице. Жаль только, что я лично не встретился тогда ни с одним из них. Бедная Оксана устала отвечать на телефонные звонки, а их было до полсотни в день. Оксана брала трубку и сразу же начинала говорить специальным жизнерадостным тоном, чтобы на другом конце провода сообразили бы, что все это вздор, белиберда, и не задавали бы вопросов о моем здоровье, на которые Оксана устала отвечать. Почему возник именно такой нелепый слух, я так и не понял... Если бы толки ходили компрометирующие, можно было бы догадаться, откуда они исходят и зачем. Если бы болтовня была, наоборот, лестная, это следовало приписать успеху, популярности, а тут...

Итак, я отпер дверь, и в квартиру вошел лейтенант-книгочей, с которым — мне показалось, давно, а на самом деле минут двадцать назад — я беседовал во дворе.

— Извините, — сказал милиционер, — мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Долг службы. Может быть, вы сможете нас натолкнуть на что-то...

— Пожалуйста, — натянуто сказал я и невольно оглянулся в сторону кухни.

Младший Олег — будем называть его так — вышел в это время в прихожую и поздоровался с милиционером. Я заметил, что перчаток на его руках не было, но когда он их снял — во время завтрака или еще раньше — никак не мог вспомнить.

— Я не знал, что у вас гости, но это займет несколько минут...

Я пригласил оперативника в комнату, и мы уселись около журнального столика. Милиционер оглядел комнату. Она была очень большая. В свое время мы с

Оксаной, когда поженились, сменяли две наши квартиры в разных концах города на две других, расположенных рядом в одном подъезде, на одном этаже. Первое, что я сделал, — сломал стену между квартирами, и получилась огромная комната, нетипичная для советского жилья. После бесконечного глобального ремонта мы вызвали для уборки строительного мусора человека из «Зари». Будучи, естественно, пьяным в лоскуты, он оглядел непривычную кубатуру и спросил, икая: «Это что у вас будет? Фойе?» С тех пор мы с Оксаной иначе эту комнату не называли.

— Откуда вы приехали? — начал допрос милиционер.

— Из Ленинграда. У меня там были творческие встречи.

Милиционер бросил взгляд на моего гостя, смотревшего в окно. И вдруг нахмурился:

— Постойте, Олег Владимирович, вы же сказали, что у вас дома никого нет, а на самом деле... В парадное после вас никто не входил.

Наступила решительная минута. Я мог бы поведать оперативнику о нежданном и странном вторжении незнакомца, о перчатках на его руках, которые вдруг исчезли, о его странной осведомленности... Этого, думаю, было бы достаточно, чтобы парня тут же заграбастали.

Младший Олег испытующе смотрел на меня, ожидая, как я поступлю, — он ведь знал, о чем я думаю. Ждал и лейтенант, который как раз не подозревал о моих мыслях. Пауза затягивалась.

— Понимаете ли, — по возможности искренне начал я, еще не зная, как выкручусь, — дело в том, что этот молодой человек... — Тут меня осенило: — Он мой сын... Да, представьте... Он вчера приехал, не предупредив меня... Мы очень похожи... Остался ночевать... Вот

такой приятный сюрприз... Он всегда сваливается как снег на голову...

Лейтенант, вероятно, почувствовал какую-то фальшь. Он внимательно разглядывал моего посетителя.

Я же продолжал усугублять подозрительность милиционера.

— Ты откуда приехал, Олежек? — Задал я идиотский для отца вопрос.

— Я же говорил тебе, папа, из командировки, — уклончиво ответил «сын». —

— Это я помню, — сказал я. — Но ты мне не сообщил, откуда именно.

— Ты интересуешься для себя или для милиции? — нагло спросил «сынуля».

— Исключительно для себя.

Признаться, я был совсем не в своей тарелке и роль играл плохо, притом не очень-то соображал, какую именно роль я должен играть. С одной стороны, я не хотел «закладывать» парня — что-то меня удерживало, а с другой, в присутствии милиционера я чувствовал себя уверенней, спокойней.

— От тебя у меня нет секретов, старик, — развязно заявил отпрыск. — Но это была секретная командировка. Так что я пока промолчу.

— Как его фамилия? — неожиданно спросил у меня лейтенант.

— А почему вы именно у меня спрашиваете? — увильнул я.

— Вы что, не знаете фамилию своего сына? — насторожился милиционер.

— Почему не знаю! — хорохорился я. — Я знаю... Но... Олег, кстати, ты сохранил мою фамилию или взял фамилию матери?

— Конечно, сохранил твою. Горюнов. Кому в нашей стране нужна фамилия Рапопорт?

— Можно ваш паспорт? — спросил лейтенант у моего не внушающего доверия потомка.

— Сделайте одолжение, — с легкой издевкой зевнул младший Горюнов и достал из кармана паспорт. Советский, но такой, какой дают при выезде за рубеж.

— Собираетесь уезжать... — процедил лейтенант, сверяя фотографию с оригиналом. — Далеко?.. Действительно, Горюнов Олег Владимирович.

— С вашего разрешения, в Израиль, — подчеркнуто вежливо объяснил мой тройной тезка.

— Но если вы сын Олега Владимировича, то почему у вас отчество Владимирович? — любопытно спросил милиционер.

— А там отчество Владимирович? — Я не сумел сдержаться. — Разрешите взглянуть?

— Пожалуйста, — лейтенант многозначительно протянул мне паспорт моего визитера.

— Папа, я во всем хотел походить на тебя, в том числе и отчеством. И попросил в милиции, — тут Олег сделал жест, показывающий, что он всучил за это деньги, — чтобы у меня было отчество по имени деда, Владимира Ивановича. Такое же, как у тебя.

Вся эта ситуация была для меня какой-то двойной пыткой.

— Понимаете, — начал я лихорадочно объяснять, — дело в том, что я расстался с его матерью много лет назад... Она снова вышла замуж... Я помогал... Потом его мать перестала мне писать... Да и Олега я не видел уже много лет...

— Как же тогда он попал к вам в квартиру? — поинтересовался лейтенант. В логике ему отказать было нельзя.

— Как ты попал? — тупо спросил я. Мне и самому это было интересно.

— Папа, ты меня пугаешь! Ты же сам оставил ключи для меня у Терезы... — разъяснил сообразительный

сынишка.

«Значит, он знает и Терезу», — подумал я, а вслух сказал:

— Да, верно. Как я мог забыть? Маразм... Знаете анекдот про маразм? Стоит человек на углу с пустой авоськой. И говорит сам себе: «Вот маразм чертов! Не помню, в магазин иду или из магазина?»

И я вопросительно уставился на лейтенанта, пытаюсь понять, поверил ли он нам.

— Тут, в загранпаспорте, естественно, нет вашего домашнего адреса, — сказал сыщик, — А нам придется, возможно, вас побеспокоить, пригласить...

— Дело в том, что я улетаю завтра утром. Если у вас какая надобность во мне, то не откладывайте... А то не ровен час...

— Но вы же вернетесь? — улыбнулся лейтенант.

— Сейчас такое время, что ни за кого ручаться нельзя.

Милиционер задумался.

— Товарищ Горюнов-младший, вы не станете возражать, если я позову дактилоскописта? Он сейчас в ограбленной квартире работает.

— А вы по закону имеете право? — спросил я.

— В нашей стране после революции никто не соблюдал никаких законов, — сказал «потомок», — Но я не против. Это замечательная идея! Я с удовольствием оставлю на прощание милиции свой автограф.

Милиционер позвонил в квартиру Кустовского и позвал специалиста по отпечаткам пальцев. Через несколько минут у меня в «фойе» появился еще один сыщик.

Правда, он был в штатском, но от него несло чем-то военизированным за версту. А по физиономии было ясно, что выпито им за прожитые годы невероятное количество самого разного алкоголя.

Пока он готовился снять отпечатки пальцев у младшего Горюнова, тот поинтересовался:

— Это правда, что на свете не бывает двух совершенно одинаковых отпечатков?

— До сих пор не встречалось. Пожалуйста, надавите пальцем сюда.

Молодой Олег с удовольствием прижал свой палец к стеклянной пластинке, вымазанной чем-то синим.

— А теперь сюда. — Дактилоскопист расстелил на столе небольшой лист бумаги.

— У меня к вам просьба... Вот мы с отцом поспорили на бутылку коньяка. Я считаю, что у нас с ним должны быть идентичные отпечатки пальцев, а он не согласен, говорит, что так не бывает. Вы не проведете эксперимент, чтобы разрешить наш спор?

— Незачем время тратить. Ваш отец прав.

— Но если это не очень сложно, прошу вас. Мы поставим рядом свои отпечатки, а вы сравните. Если я не прав, то разопьем мой проигрыш вместе. И немедленно.

— Открывайте бутылку, — сказал дактилоскопист и протянул еще одну стеклянную пластинку. На этот раз мне.

Я понял, что затеял мой двойник, тезка, сын, брат, инопланетянин — в общем, черт знает кто — и безропотно приложил свой большой палец.

Рядом с моим отпечатком на бумажный лист лег след от большого пальца младшего Горюнова.

— Сейчас я могу сказать только приблизительно, — сказал дактилоскопист, вооружаясь лупой. — Точный анализ можно сделать в лаборатории. Но бутылочку, молодой человек, можете открыть...

Уверенности у меня, что проиграл молодой человек, не было, но я распахнул дверцу бара и достал бутылку армянского коньяка, купленную с полгода назад. Сейчас ничего такого нельзя было купить, разве что за огромные деньги. Армения практически отделилась и

перестала поставлять нам коньяк. А поскольку я уже давно не пью и даже не выпиваю, у меня в баре сохранилось несколько бутылок спиртного.

— Минуточку, минуточку, — оторопело забормотал специалист по отпечаткам пальцев и выпивке. — Боюсь, что... Нет, это невероятно... Если бы сам не был свидетелем того, что отпечатки делались разными людьми... Умом поехать можно... Елки зеленые!

— Неужели полная идентичность? — ахнул я.

— Боюсь, что вы проиграли, папаша, — сказал дактилоскопист. — А впрочем, посмотрите сами.

Я схватил лупу и стал разглядывать отпечатки.

Младший Олег, победно улыбаясь, взял бутылку и нахально сказал:

— Разрешите, папаша, я открою ваш проигрыш!

И тут я понял, что завтра утром, без двадцати одиннадцать, меня действительно убьют.

Сверстнику

Его взяло отчаянье и зло.

В тюрьме родился, в ней провел всю жизнь он.

Иным везет, ему не повезло:

застенком для него была отчизна.

Он жал плечом — незыблема стена!

А правила жестоки, неизменны.

Да, на таран не шел, и в том его вина...

Порой лишь бился головой о стену.

Считал, что в каталажке и умрет...

Но вдруг начальник новый был назначен,

пробил в стене дыру, проем, проход

и для начала все переиначил.

Привольный мир открыла та дыра:

дорогу, речку, луг, где лошадь ржала.
В пролом рванула первой детвора
и босиком по полю побежала.

Ребята в речку прыгали, визжа,
они свободу приняли, как должно.
А он, привыкший к кулакам вождя,
с опаской шел, на ощупь, осторожно.

Приволье, а ему не по себе:
нет стукачей, не бьют, не держат плетку...
И он, мечтавший о такой судьбе,
вдруг захотел вернуться за решетку.

Он рад и злобен... И в конце пути
все проклиняет и благословляет...
Тюрьма не только держит взаперти,
она к тому ж еще и охраняет.

Гримасой жалкою его лицо свело,
фигура сгорбилась понуро и устало.
С эпохой ему не повезло —
Как раз на жизнь свобода опоздала!

Глава вторая

В голове у меня будто стучал метроном, отбивающий время. Причем стучал как-то лихорадочно быстро, во всяком случае, мне так казалось. С большим трудом удалось спровадить милиционеров. Дактилоскописту пришлось вручить недопитую бутылку — я понял, что, пока он ее не прикончит, его из дома не выставишь.

Мы снова остались вдвоем — я с моим младшим «я». Сказать, что я испытывал неуверенность, двойственное чувство, сомнение, — было бы слишком неполно. Смятение раздирало меня. С возрастом я стал более терпим к мысли, что необыкновенного и непознанного в мире очень много, но сам лично я никогда ни с чем иррациональным, не имеющим логического объяснения не встречался. На этот раз всю цепь случившегося я вынужден был принять как данность, хотя это противоречило моему предыдущему опыту уже довольно долгой жизни...

Однако если завтра мне действительно предстоит переселение, что называется, «в мир иной», то надо собраться с мыслями и перед расставанием с жизнью привести в порядок свои дела. Ну, а если все это... ну, скажем... классный розыгрыш, то я буду выглядеть законченным кретином. Впрочем, привести дела в порядок, осуществить то, до чего не доходили руки, — в этом не было ничего плохого. Я колебался, что же мне все-таки предпринять, изредка поглядывая на себя «молоденького». «Я молоденький» читал один из последних номеров «Нового мира», где наконец-то напечатали мою повесть, которую я сочинил лет двенадцать назад. Когда я ее писал, то знал, что работаю «в стол». И тем не менее вещь писалась

запойно, словно я ее выдохнул. Понимая, что опубликовать ее не станут и предлагать ее журналам с моей стороны по меньшей мере нахально и бестактно, я все-таки предпринял тогда кое-какие попытки. Отнес вещь в послетвардовский «Новый мир» и в «Дружбу народов». Но, как и ожидал, получил отказы с извинениями, сожалениями, невразумительным бормотанием. Еще три года назад я, честно говоря, не верил, что повесть когда-нибудь прочитает наш читатель. За границей ее тиснули в «Континенте», и тогда у меня возникли неприятности. Сейчас вспоминается об этом с легкостью и даже, к собственному удивлению, без чувства злобы, но семь лет назад, когда началось гонение, было достаточно противно. Меня вызывали в Союз, на заседание секретариата, допытывались, как мой «пасквиль» попал за кордон. Признаюсь, я и сам не знал этого, так как рукопись за рубеж не отправлял. Мое клеветническое сочинение лежало в двух редакциях московских журналов достаточно долго, что-то около полугода, а потом все экземпляры вернулись ко мне, и Оксана засунула их в папку и спрятала на антресоли. Оксана не выбрасывала черновиков и вообще ничего из того, что вышло из-под моего даровитого пера, и бережно все сохраняла. Единственная гипотеза, которую я смог выстроить, заключалась в том, что кто-нибудь из сотрудников этих журналов, кому понравилось мое сочинение, снял с повести копию и как-то переправил ее за границу. Несмотря на разгром «Нового мира», там еще оставались приличные люди, да и в «Дружбе народов» вытравить прогрессивный дух до конца не удалось. Разумеется, этого своего предположения я вслух не высказывал, ибо у «органов» тогда были очень интимные отношения с писательской организацией. Но и на себя «грех» брать не хотел, зачем возводить напраслину на себя, любимого. Поняв, что я не

раскалываюсь, секретари и разные доброхоты стали от меня требовать, чтобы я дал в «Литературке» отповедь «пиратской акции антисоветчиков и отщепенцев». Я понимал, что для собственного блага надо бы пойти на уступки и написать что-то вялое, якобы возмущенное, но переступить через свою совесть не смог и отказался. Мне пригрозили исключением из Союза писателей. Тут и я закусил удила, сказал, что чести им это не сделает, что надо не только служить, но и о совести думать, что я попаду в недурную компанию вроде Солженицына, Галича и Аксенова. При гробовом молчании присутствующих я ушел с заседания секретариата. У меня не было никакого геройского чувства, наоборот, что-то мерзкое, трусливое и гадкое бултыхалось в душе. А потом приходил домой какой-то литературовед в штатском, советовал уехать из страны, обещал всяческую поддержку в быстром оформлении выездной визы. Я был с ним вежлив, но сказал, что выдворить меня можно только под конвоем. От меня помаленьку отстали. Писатели не рискнули меня исключить, а КГБ, видно, тоже махнул рукой. Правда, очевидно, были телефонные указания, и меня перестали издавать, упоминать в газетах. Стали вычеркивать мою фамилию из критических статей, исключили из редколлегии «Комсомолки», вывели из художественного совета «Мосфильма». «Советский писатель» изъят из плана мой однотомник. Тут оказалось, что и государственная граница на замке. Во всяком случае, для меня. Да я и не особенно тыркался. Могли выпустить, а потом захлопнуть шлагбаум и лишить гражданства. Прецедентов подобного рода было немало. Больше всего, пожалуй, пострадал мой друг Стасик, критик и литературовед. Набор его книги обо мне был рассыпан. В общем, в старину это называлось «опала». Меня вроде как бы не стало: не то умер, не то исчез, не то испарился. В такое положение я попадал не впервые —

у меня уже имелся опыт немилости властей. То за подписание письма в поддержку высылаемого деятеля культуры, то за автограф на протесте против ввода наших войск в чужую страну или суда над инакомыслящими. А «подписантов» у нас в стране ох как не жаловали. И я решил засесть за роман, приняться за который все было недосуг. Я понял, что как минимум годика два трогать меня не станут и можно спокойно — если только внутренняя эмиграция в собственной стране может считаться состоянием покоя — заняться настоящим делом, не отвлекаясь на жизненную суету. И действительно, не приставали довольно долго. Телефон, раньше трезвонивший без умолку, вдруг утих. Куда-то исчезли интервьюеры и интервьюерши, я перестал интересоваться организаторами писательских пленумов. Оксана была трусишкой, очень боялась, что со мной может что-нибудь случиться, и вздрагивала при каждом звонке в дверь. Но, к счастью, вздрагивать ей приходилось не так уж часто...

Мой гость впился в «Новый мир» и частенько хихикал, не обращая на меня никакого внимания.

А повестушка-то содержала в себе леденящую кровь историю. Это был сюжет о молодом историке, выпускнике университета, который почему-то крайне неодобрительно относился к самому прогрессивному строю в мире и мечтал смыться из самой лучшей на свете страны. Конечно, он был неблагодарной скотиной, не ценившей, что Родина его воспитала, приняла в комсомол, дала высшее образование и двухгодичную воинскую закалку после окончания университета. Пребывание в армии почему-то особенно не понравилось герою, и он поставил себе задачу покинуть Отечество любой ценой. Но осуществить это было не так-то просто. Уехать в туристическую поездку в

капиталистическую страну, в такую, откуда перебежчика не вернули бы обратно, никак не получалось. Он был холост, а без заложников за рубеж не выпускали. Такая родня, как родители, братья и сестры, дяди и тети, в расчет не принималась. Организовать служебную командировку, хотя Шурупов — такая фамилия была у героя — уже стал кандидатом исторических наук, тоже не удавалось. Право выезда за пределы, то, что в любой стране предоставлялось любому просто так, ни за что живешь, не за какие-то там заслуги, в нашем самом гуманном обществе следовало заслужить. Бедняга и в партию вступил — не помогло. Те, кто думал, что в отличие от зеков живут на свободе, ошибались. Просто зона у них была побольше, а колючая проволока их лагеря шла по государственной границе СССР.

Взвесив свои возможности, Шурупов установил, что имеет три возможности отъезда за бугор. Первый способ — жениться на иностранке, на «фирменной» девочке, и вместе с ней сигануть на волю. Второй путь был похож, но менее приятен: следовало охмурить какую-нибудь еврейку (тогда говорили: «Еврей не национальность, а средство передвижения»), сочетаться с ней законным браком, далее организовать вызов от мифических родственников из Израиля и рвануть в Соединенные Штаты. Еврейский вариант меньше нравился Шурупову, ибо он недолюбливал эту активную нацию. Не то чтобы он был рьяным антисемитом, но не лежала у него к ней душа, да и тело тоже не хотело ложиться в одну койку.

Третий путь был кровавый, и герой, будучи гуманистом не только по образованию, его отвергал. Речь шла об угоне самолета. Дело предстояло хлопотное: доставать оружие, суметь протащить его на борт... Кроме того, не было никаких гарантий, что самого Шурупова не прихлопнут. Да и убить человека

он, пожалуй, в отличие от Раскольниковова не сумел бы. Эта версия была отброшена бесповоротно.

Сначала герой попробовал два первых способа. Он начал каждое утро принимать душ, и ежедневно менял белье, и даже душился заграничной туалетной водой. Но все было напрасно. Ни стильные девочки из-за бугра, ни еврейские барышни на него не клевали. Он потратил немало денег на рестораны, но почему-то никто не хотел ложиться с ним в постель. А он, как дурак, каждый день ходил чистый, надушенный и в свежем белье. В особенности Шурупов обижался на евреек. Он, можно сказать, делал им одолжение, предлагая себя, совершал, можно сказать, подвиг, преодолевая свою нелюбовь к их национальности, а они ужинали с ним и потом воротили от него свои, как правило, длинные носы. Наш историк имел несколько мужских недостатков: мал ростом, неказист, некрасив, необаятелен и как-то несексуален. И хотя у него были недюжинные мужские достоинства, ему никак не удавалось пустить их в ход. Ну не хотели женщины иметь с ним никаких амурных дел! И только невзрачная, чтобы не сказать уродливая, соседка по подъезду удовлетворяла его плотские вождедения.

Короче, многочисленные попытки завязать серьезный роман, переходящий в женитьбу, со «средствами передвижения» потерпели фиаско. Шурупов устал каждый день мыться и решил пойти другим путем. Конечно, это потребовало от него своеобразного, можно выразиться, даже геройского поступка. Он — чистопородный русский — решил переменить национальность. Все-таки отвращение к социалистическому строю возобладало над неприязнью к евреям. Он написал заявление в милицию, что потерял паспорт. Через месяц ему по правилам должны были выдать новый. Когда начальник паспортного стола заполнял паспорт, Евгений Федорович Шурупов,

родившийся в Васильсурске на Волге в семье агронома, вдруг сказал майору милиции:

— В графе национальность напишите «еврей»!

Догадливый майор перестал писать и протянул раздумчиво:

— Пожалуйста. Только нужно представить документы, удостоверяющие...

Шурупов положил на стол конверт и произнес со значением:

— Здесь не один документ, а три...

И он выразительно посмотрел на майора. И, хотя, где-то в тайниках его сознания, испуг не проходил, он все-таки надеялся, что майор не поднимет хипежа и не начнет обвинять его в даче взятки.

Его надежда более чем оправдалась.

Майор сгреб конверт со стола, заглянул внутрь, где лежали три сотенные ассигнации, прохрипел:

— Тут потребуется не три, а четыре документа.

У Шурупова испуг, словно камень с плеч, скатился и что-то радостное запело в душе. Он добавил еще сотню и так, всего за четыреста рублей, приобрел желанную национальность. Как он тогда был счастлив! Но одновременно, будто резкая холодная тень, набегало чувство тошноты и омерзения. Надо же, он — и еврей! Далее, через знакомых своих знакомых, чьи знакомые укатили на свою историческую родину, он получил вызов от несуществующей тети. Подал заявление на отъезд. По тогдашним правилам он должен был оставить работу в историко-архивном институте, где преподавал восемнадцатый век в России. Изучая историю этого столетия, собирая материалы для диссертации, он поездил по русскому Северу и собрал не только материалы, но и немало старинных икон. Иной раз воровал ночью в церкви, другой раз скупал по дешевке у выживших из ума стариков, а то и выносил из дома, где только что умерли и покойник или покойная

еще не успели остыть. При этом он говорил себе, что, по сути, спасает произведения русского искусства от разграбления и уничтожения. Может, он был и прав. Но ведь и его конкуренты, как правило, считали так же. Те десять месяцев, что тянулось оформление, он зарабатывал на жизнь, разнося авиационные и железнодорожные билеты по квартирам. Жил неплохо. Даже, пожалуй, лучше, чем на институтскую зарплату. «На чай» часто давали весьма щедро. Наконец документы на выезд оформили, билеты были куплены, вещи упакованы. Однокомнатная квартира была возвращена кооперативу, а на стоимость пая покупались постельное белье и разные вещи, которые тут стоили дешево, а там — дорого. Предстояло щекотливое дело с отправкой икон. Но и здесь Шурупову повезло. Таможенник, проверявший его багаж — мебель, книги, телевизор, холодильник, коробки, чемоданы и пресловутый ящик с иконами, откровенно смотрел в руку, и Шурупов не поскупился. Все его пожитки беспрепятственно миновали границу и отправились в Италию. В Остию, близ Рима, должен был прибыть и хозяин багажа после кратковременной сортировки эмигрантов в Вене.

Накануне отъезда Шурупов устроил в пустой квартире вечеринку. Невзрачная любимая-нелюбимая женщина из его подъезда помогла ему приготовить ужин. Друзья завидовали, но втайне, скрывая друг от друга непатриотическое чувство. Нелюбимая возлюбленная плакала в предчувствии разлуки. Все сидели на чемоданах, старых табуретках, на подоконнике. Пили из бумажных стаканчиков, закусывали на газете. И было всем не столько грустно, сколько скучно. А когда все ушли, герой занимался прощальной любовью прямо на полу, опять-таки постелив газеты. Он клялся сожительнице прислать ей оттуда вызов, но оба понимали, что он этого не сделает

никогда. Однако это не мешало им пылко предаваться страсти...

А наутро произошло ужасное, неожиданное, непредсказуемое! В Шереметьевском аэропорту, когда Шурупов проходил таможенный досмотр, к нему с распростертыми объятиями подошел земляк и близкий друг его покойного отца Степан Сергеевич. Он служил в пограничных войсках и даже имел какой-то приличный чин. Сначала он обрадовался, увидев сына своего покойного друга. Но, разобравшись в ситуации, буквально оцепенел. Мысль, что сын Шурупова уезжает по еврейской визе в объятия сионистов, повергла его в ужас. Но, как и подобает чекисту, он быстро вышел из прострации и поступил с незадачливым эмигрантом весьма круто. Все-таки замечательно, что нашу границу охраняют такие бдительные и неподкупные люди. На свой рейс Шурупов, естественно, не попал. Не отправили его и на следующий день. Дуболом-патриот Степан Сергеевич вывел на чистую воду афериста. Для полковника пограничных войск отдать чистокровного русака в лапы международного империализма было невозможно. Его свидетельства, что он лично знает этого псевдоеврейского молодца буквально со дня рождения и у того нет никакой тетки в Израиле, что тут пахнет предательством Родины и происками израильской разведки, оказалось достаточным, чтобы аннулировать визу. Так Шурупов и остался в своем Отечестве. Без работы, без квартиры, без обстановки, без икон, без телевизора, без холодильника, без постельного белья, без денег, но зато с национальностью — еврей. И кто бы смог предвидеть, как дальше повернется его жизнь? А повернулась она таким образом: он пошел работать служкой в московскую синагогу, выучил иврит, принял иудейскую веру и превратился в самого яркого приверженца сионизма. Шурупов стал не только антисоветчиком, что

естественно, но и русофобом, что отвратительно. Какие только фортели не выкидывает судьба!..

По нынешним меркам вполне безобидная вещица. Написана она была довольно едко, в разнузданной манере, чем особенно, думаю, раздражала всяких разных начальников и привела в бешенство моих правоверных коллег по «писательскому цеху» — любили у нас приблизить сочинителя к рабочему классу.

Младший Горюнов посмеивался, читая опус старшего Горюнова. А я все метался и не понимал, что же мне предпринять, с чего начать. Тут я обратил внимание на еле заметный шрам на лбу моего гостя. У меня на том же самом месте был точно такой же, почти невидимый шрам.

— Откуда у тебя эта отметина? — спросил я, показывая на свою.

Младший Горюнов оторвался от чтения:

— Слушай, я не представлял себе, что буду так здорово писать, когда подрасту.

— Надеюсь, ты будешь писать лучше, — с любезной иронией ответил я.

— А этот шрам на лбу я получил так. Мы играли во дворе в расшибалочку. Мне было, наверно, лет семь или восемь... Я поставил на кон свой гривенник. А один из парней, он был постарше, стоял на черте, собирался бросить битую... ну, ты знаешь...тяжелую, сплюснутую, большую монету... Так вот, этот тип думал, что я поставлю свою долю на кон и отбегу в сторону... и швырнул битую... А я не видел и побежал не вбок, а навстречу. И бита, как снаряд, врезалась мне в лоб. Я свалился без чувств...

— А разве в ваши годы еще играли в расшибалочку? — спросил я, холодея.

Все это точь-в-точь случилось со мной перед войной, и я вспомнил наш проходной двор на Смоляге, голубятню, около которой гужевалось пацанье. Мы

сооружали самопалы и ходили войной на соседние дворы, до одури резались в пристеночек, в расшибалочку и в джонку. В семь лет я уже курил, конечно, не всерьез, но всю выпускать дым, а в случае опасности прятал незагашенный чинарик в рукав. В первом классе мать нашла у меня в кармане пачку папирос-гвоздиков «Бокс», которые, помню, стоили 35 копеек. Мне каждый день выдавалось 1 рубль 10 копеек на школьный завтрак. Так вот, 35 копеек из них я тратил на курево. Если вдуматься, мальчик был как мальчик...

Бита угодила мне в лоб, и я рухнул без чувств, меня отвезли в больницу. Я пришел в сознание на больничной койке. А потом около двух месяцев ходил с марлевым тампоном-пузырем на лбу. Я иногда думал: сыграло это ранение какую-то роль в моей судьбе или нет? Может, если бы бита промчалась мимо, психика моя не изменилась и жизнь понеслась бы по другой колее? Кто знает? Думать про всякие случайности и что бы стало, если бы их не было, мне всегда казалось интересным...

Но сейчас поразило меня другое. Историю с расшибалочкой, кроме моих давно умерших родителей да дворовых мальчишек — где они сейчас?! — никто не знал. Этого ЕМУ никто не мог рассказать. НИКТО!

И тогда я отбросил всяческие сомнения. Я отчетливо понял — мне остался один, последний день жизни. Вдруг я почувствовал, что моя воля парализована. Энергия, сила, решимость уплыли куда-то, и я подумал: не надо суетиться, что-то делать, куда-то бежать... Надо просто ждать, когда наступит конец. Главное, не терять спокойствия и ждать с достоинством. Послушать музыку, перечитать напоследок что-нибудь любимое. А еще лучше поехать куда-нибудь на природу, к воде и бездумно сидеть, глядя на чаек и белые пароходы, у которых кончается навигация. В общем, надо поступить, как подобает настоящему человеку

прошлого века, а не как ничтожному порождению нынешнего. Но я — дитя своего времени, дешевого, вульгарного, торопливого. Мне было не по силам проникнуться стоическим умением владеть собой. Шило в заднице, которое сидело всегда, пришло в движение. Характер, вопреки сознанию, опять диктовал мое поведение. Я стал собираться с мыслями. Что необходимо сделать сегодня, именно сегодня? Признаюсь, я не был готов к такому резкому повороту. В голове проносились всякие незавершенные дела, почти все казалось мелочью по сравнению с тем, что меня ждало. Я осознал — надо отбросить мишуру, необязательное, ибо времени в моем распоряжении ничтожно мало. Рядом со смертью, которая стала критерием отсева, почти все представлялось лабудой. Удивительным было то, что я не испытывал паники, мандража и о смерти думал, как о чем-то отвлеченном.

— Учти, я эти сутки в твоём распоряжении, — сказал «я двадцатипятилетний» «мне шестидесятидвухлетнему», — У меня самолет завтра в 12 часов 40 минут дня.

То есть через два часа после предсказанной моей кончины. А что если именно он меня как раз прихлопнет и тут же уберется из страны?

— Какая чушь тебе лезет в голову, — встрял в мой мыслительный процесс двойник. — Если удастся, я, наоборот, постараюсь помешать убийству... Хотя ты и старый уже, но болван!

И он снова уткнулся в мою повесть, потом повернулся и сказал:

— Слушай, а твой сюжет мне тоже приходил в голову, но сейчас писать об этом уже поздно, поезд ушел...

«Надо поехать на кладбище, попрощаться с Оксаной, со стариками. Хотя, кто знает, может, это будет прощание перед встречей? Что там ожидает, за

финальной чертой? Потом надо повидать дочь с внучкой... Но они в санатории в Крыму... Слава Богу, завещание написано, менять ничего не буду... Так что времени на формальности, справки, нотариусов можно не тратить. Вечером, пожалуй, устрою вечеринку, приглашу друзей на собственные поминки... Здоровая идея!.. Кое-кому надо ответить на письма... А, впрочем, можно и не отвечать... У меня уважительная причина для неответа...»

Вдруг мой внутренний монолог оборвался, как будто что-то толкнуло меня. Как я сразу не вспомнил про это дело? Ведь я занимался им уже много лет, да так и не довел до конца... В цепи доказательств зияли пустоты, я не мог найти документальное подтверждение своим догадкам, подозрениям, больше того — уверенности. Но сейчас я понял, что попросту не имею права умереть, не поставив точку. Ибо дело шло о смерти моего отца, а вернее об убийстве. Недаром и цыганка на вокзале сказала, что отец был убит...

Я до мелочей помню последний вечер с отцом. Он уезжал в командировку в Ленинград. Помню число — 12 февраля 1952 года. Была жуткая слякоть. Я провожал его на вокзал. Отец пребывал в замечательном настроении, его только что назначили главным инженером треста «Промстальпродукция». По этому поводу мы открыли в купе бутылочку коньяка. Я учился тогда на четвертом курсе медицинского института, но уже твердо знал, что пойду по стопам Чехова. С той разницей, что практиковать как врач не стану, а уйду в литературу немедленно. У меня уже было несколько публикаций, а Чехову в эти его годы такое и не снилось. Мы разложили на бумаге бутерброды с колбасой и с сыром, приготовленные матерью. Проводник принес стаканы и первую порцию выпил с нами, а потом ушел к дверям вагона. Отцу повезло — ему теперь по должности полагался мягкий вагон, но билет достали в

крайнее купе, где было не четыре, а всего два места, одно над другим. Я подшучивал над отцом, говорил, что его соседкой наверняка окажется молодая красотка. Но я — могила и матери о его дорожном приключении не расскажу. То, что никакая женщина не сможет устоять перед обаянием отца, я не сомневался. Я всегда был в него немного влюблен. Он казался мне красивым, умным, добрым, широким, ироничным. Москвошвеевские вещи на нем сидели, как заграничные.

Ему недавно исполнилось пятьдесят. Сейчас я на целых двенадцать лет старше его. Это странное чувство — ощущать себя взрослее собственного отца. И только сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, каким он был в тот вечер молодым. Особой карьеры отец не сделал. Когда-то, в середине двадцатых — меня еще не существовало, — он окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта и стал специалистом по металлическим конструкциям. Участвовал в сооружении домен в Череповце, в строительстве Крымского моста, возведении стальных каркасов высотных зданий, которые только что были закончены и вызывали восхищение москвичей и приезжих — мол, наши небоскребы не хуже американских.

Возведение наших небоскребов вела секретная строительная организация под названием «Особстрой» или что-то в этом духе — за давностью лет уж точно не припомню. «Особстрой» входил не то в НКВД, не то в МГБ, тоже не помню точно, когда эти два симпатичных, любимых народом ведомства разделились и от НКВД отпочковалось МГБ. Да это и не важно. От отца я знал, что шефом «Особстроя» был сам Лаврентий Павлович. Стройки высотных зданий были огорожены высокими заборами с колючей проволокой, за которыми зэки рыли гигантские котлованы для фундаментов. Бесплатная

рабочая сила — вечная наша традиция. При царизме — крепостные, в сталинские времена — заключенные, а теперь — армия. Трест, в котором служил отец, не входил в секретную систему «Особстроая», он лишь выполнял заказы...

Наконец объявился попутчик отца, а вовсе не попутчица. Мои подначки относительно поездного романа оказались безосновательными. Я готовил себя к писательской деятельности и поэтому внимательно всматривался в каждое новое лицо, даже заносил в записную книжку описания внешности, особенности пейзажа, хлесткую услышанную фразу и изредка появляющиеся собственные мысли, понимая, что все это может пригодиться при сочинительстве. Сосед отца по купе не очень запомнился мне. Крепкий, спортивного вида человек, всего лет на пять старше меня. Единственной его особенностью был широкий синий рубец, идущий от виска вниз к щеке. Еще я обратил внимание, что у него не было с собой никакого багажа, кроме обычного служивого портфеля, который он не выпускал из рук. Короче, он выглядел типичным командированным.

Отец предложил ему составить нам компанию, налил полстакана коньяка и протянул попутчику. Тот вежливо отказался и произнес фразу, которая нас немного удивила:

— Спасибо. Но на работе я не пью.

— Какая же в поезде работа? — улыбнулся отец.

Молодой человек на секунду замялся и потом объяснил:

— Знаете ли, я писатель. А в этой профессии человек всегда на работе.

Я посмотрел на него с уважением, потому что профессиональный писатель казался мне тогда существом высшего порядка.

— Не буду вам мешать, — любезно сказал сосед и вышел в коридор, не выпуская из рук портфеля.

Подошло время прощания. Мы обнялись с отцом, он уезжал всего-то на неделю.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Не волнуйтесь, доктор, — улыбнулся отец, намекая на мою будущую профессию. — Я в полном порядке. Поцелуй мать.

И потрепал меня по щеке. Так он часто делал в детстве. От прикосновения его руки стало приятно и тепло. Я в ответ легко ударил его кулаком в плечо и вышел на перрон. Отец встал у окна в коридоре, сменив своего соседа, который вернулся в купе. «Стрела» тронулась. Я шел за вагоном и глупо улыбался, не сводя глаз с любимого лица.

А наутро нас разбудил звонок почтальона — пришла телеграмма из Бологого, где сообщалось, что ночью отец скончался в поезде. Причина смерти — инфаркт.

Дальше были кошмарные дни: поездка в Бологое, цинковый гроб, медицинская справка с диагнозом смерти; похороны, которые начались у морга, а потом гроб установили в вестибюле «Промстальпродукции». Трест помещался на Садовом кольце недалеко от Маяковской. Речи потрясенных сотрудников, окаменевшая от горя мать. Управляющий трестом Кармазин поцеловал руку матери, обнял меня. Он два раза приходил к нам домой в гости. Этому человеку отец был очень обязан. В 1938 году Кармазин работал главным инженером треста, то есть в той должности, на которую отца назначили перед смертью, а отец был начальником технического отдела. Каким-то образом Кармазин разузнал, что отца намерены посадить, — всю эту историю мне рассказывала потом мать. И тогда Кармазин выдумал для отца командировку в Архангельск и услал его из Москвы. Целый год провел отец в Архангельске. Все это время он не писал матери

писем, не звонил домой по телефону. А когда опасность миновала и органы, наверное, вместо отца упекли в тюрьму кого-то другого, Кармазин вернул его в Москву.

Отец лежал в гробу, и выражение лица было мне незнакомо. Как будто он чего-то испугался в момент кончины. А потом Даниловское кладбище, тесные поминки в наших двух крошечных смежных комнатках в коммуналке, куда набились сослуживцы отца, родственники и соседи по квартире.

А дальше потекла уже совсем бедная жизнь. Из-за младшего брата — у нас с ним разница почти в двенадцать лет — мать нигде не служила. Она стала брать работу на дом, печатала на машинке технические тексты. Сослуживцы отца не забывали нас и регулярно подбрасывали для перепечатки какие-то инструкции, сборники и учебники.

После окончания медицинского меня распределили на «Скорую помощь», и я пошел трудиться разъездным доктором, ибо надеяться на регулярные литературные заработки было нереально...

...Тут память скакнула лет на семь-восемь вперед... Моя первая повесть о врачах, напечатанная в новом, недавно созданном журнале «Юность», заинтересовала кинематографистов, и меня пригласили на «Ленфильм» для переговоров о написании сценария. Я был очень горд и польщен этим предложением. Поэтому купил себе билет в СВ, то есть в спальный вагон. Я уже немало попутешествовал по России, будучи корреспондентом «Комсомолки», но еще ни разу не ездил в двухместном купе. За казенный счет не было положено, а самому — дорого. Гонорар, полученный за повесть, придавал мне незнакомое доселе ощущение независимости. На перроне пассажиры, едущие в «Стреле», часто приветствовали друг друга, многие из них были знакомы между собой. В толпе мелькали лица знаменитых актеров, известных писателей. Тут были и

адмиралы, крупные чиновники, сверкали золотом генеральские погоны. Я чувствовал себя приобщенным к элите страны, и хотя меня никто не знал в лицо, фамилия моя уже была на слуху. Повесть наделала порядочно шума, критики вступили в дискуссию, мордовали один другого, а заодно и меня. Благодаря их полемике я сразу стал весьма известным. Меня тут же приняли в Союз писателей. Но подходить к людям и представляться: «Я такой-то, я — автор нашумевшей повести» — было как-то глупо, хотя порой, честно говоря, очень хотелось. Потом, несколько лет спустя, тщеславие умерло во мне и казалось смешным, когда я его наблюдал у кого-то другого. Естественно, я считал себя в какой-то степени представителем богемы, и поэтому у меня в чемоданчике находилась бутылка дорогого армянского коньяка «Двин». Я не знал, кто окажется моим соседом или соседкой, но намеревался провести с ним или с ней время в задушевной беседе, хотел поделиться замыслом новой вещи, в общем, меня распирало от чувства глубокого удовлетворения и собственного величия.

Поезд тронулся, а попутчик так и не объявился. Я вынужден был ехать в одиночестве. Проводник получил с меня рубль за постель и принес чаю. Лицо проводника мне показалось знакомым, но где и когда я его видел, не припоминалось. Я пригласил его распить со мной бутылочку, потому что пить один еще не приучился. На дворе стоял не то пятьдесят девятый, не то шестидесятый год: хрущевская оттепель, знаменитый доклад вождя, утаенный от народа, но о котором все знали, возвращение узников из лагерей, развязавшиеся языки, хмельное ощущение свободы, предчувствие прекрасной жизни...

Проводник, крепко выпив, разоткровенничался и рассказал мне тогда историю, которая приоткрывала в нашем прошлом нечто неведомое.

«...Страшные вещи регулярно происходили у нас в поезде. Примерно раз в месяц возникал пассажир, довольно молодой, не старше тридцати лет, здоровый, крепкий, такой спортивный, всегда с одним и тем же портфелем в руках. Что находилось у него в портфеле, мы, разумеется, не догадывались. Тогда спальных вагонов в составе было очень мало — в пятидесятом, пятьдесят первом, пятьдесят втором годах, — но у него всегда оказывался билет в крайнее двухместное купе мягкого вагона. И мы знали, что другой пассажир из этого купе ночью обязательно умрет. Так бывало всегда. Незадолго до Бологого парень с портфелем вызывал начальника поезда, говорил, что соседу по купе плохо, и просил вызвать врачей из Бологого к вагону. В Бологом тут как тут оказывалась медицинская комиссия — думаю, что у них у всех под белыми халатами были гебистские погоны, — и констатировала смерть. Иногда от инсульта, иногда от инфаркта, иногда отравление. Труп сгружали в Бологом. Сходил и попутчик. Каждый раз, когда я видел, что он появляется в Москве в моем вагоне, меня охватывала дрожь. Это был палач, который приводил тайный смертный приговор в исполнение. Причем он никогда не работал вхолостую. Что он делал с жертвой — не знаю, потому что всегда было тихо: ни криков, ни стонов, ни выстрелов. И лишь один раз он не успел выполнить свою работу до Бологого. Вошла медицинская комиссия, хотя ее тогда не вызывали, но они и так знали все заранее, а сосед палача по купе был жив: сидел одетый и лихо травил какую-то баланду, всякие там анекдоты. Медицинские эксперты ушли ни с чем. Но я слышал, как палач тихо сказал одному в белом халате:

— К Ленинграду управлюсь...

И действительно, когда подъехали к Ленинграду, весельчак был уже на том свете. Этот самый палач, конечно, понимал, что мы про него знаем, но он всегда

делал вид, что никогда нас не встречал. И мы, проводники, тоже делали вид, что этого пассажира видим впервые. Страшно было. Помалкивали в тряпочку. Ты — первый, кому я об этом рассказал...»

Я слушал рассказ проводника и трезвел от каждой его последующей фразы. Я вспомнил лицо отца в гробу, такое несвойственное ему выражение испуга. Неужели его убили? Сходилось многое: Бологое, попутчик, который не пьет на работе, медицинское заключение о причине гибели... И последняя фраза отца: «Не волнуйтесь, доктор. Я в полном порядке». Но как узнать точно? Отец не был политиком, не был членом партии и вообще «не был, не состоял, не участвовал». Технар, инженер... И карьера не Бог весть какая... За что его надо было приговаривать к смертной казни, да еще и секретной? То, что эти убийства были организованы бериевской охранкой, было ясно и бритому ежу. Может, отец знал что-то такое, чего не следовало ему знать? Может, он ненароком прикоснулся к какой-нибудь подлой государственной тайне?.. Как теперь это обнаружить?

Ну, раньше, в 38-м, хватали всех подряд, у них план был по арестам, который следовало выполнять и перевыполнять. А тут-то за что?

Проводник ушел, а я метался всю ночь в полупьяном и полусонном кошмаре, пытаюсь ухватить какую-то нить, найти что-то существенное, что поможет свести все воедино, но это нечто ускользало, логика не слушалась, мысли путались. Кажется, я во сне плакал пьяными слезами и от горя, и от собственной тупости, и от бездонного бессилия. И вдруг меня осенило, о чем я должен спросить проводника. Уже под утро я заснул каким-то хриплым, отчаянным сном. А когда меня разбудил стук в дверь — поезд подходил к Ленинграду, — я вдруг осознал, что забыл то важное, что пришло ко мне во сне. Состояние и душевное, и

физическое было во всех смыслах рвотным. Меня мутило, и не знаю, от чего больше. Я уныло побрел к выходу, проследовал мимо проводника, который сделал вид, что не узнает меня, и поплелся по перрону, обгоняемый бодрой и деловой элитой. И вдруг я вспомнил. Мне показалось, что я побежал обратно к своему вагону, но, вероятно, слово «побежал» было преувеличением. Проводника около дверей уже не было, так как все пассажиры покинули вагон. Я нашел его в одном купе, где он сдирал с полок грязное постельное белье.

— Слушай, а как он выглядел, этот самый палач? — хрипло спросил я.

— О чем вы? — Проводник встал ко мне спиной, продолжая выдергивать одеяло из пододеяльника. Ночью мы с ним разговаривали на «ты».

— Ну, ночью ты мне рассказывал о человеке, который убивал...

— Слушай, ты, — он повернул ко мне оскаленное лицо, — запомни: я тебе ничего не рассказывал, понял?

Я взбесился и перестал что-либо соображать. Защелкнув дверь купе, я схватил проводника за горло.

— Говно, трус, подонок, — цедил я, — если ты не скажешь мне, как он выглядел, я тебя придушу, суку...

Больше я не успел ничего сказать. Проводник, хотя ему было уже с полсотни, оказался парень не промах и нанес мне точный удар в челюсть, от которого я свалился на пол. Потом он перешагнул через меня, открыл дверь купе и с ворохом белья вышел в коридор. Через некоторое время я очухался.

Проводник собирал белье в другом купе. Он почувствовал, что я остановился в проходе, но даже не обернулся.

— Мне это важно знать, — тихо сказал я. — У меня отец умер в пятьдесят втором году в поезде Москва — Ленинград. И его тело выгрузили в Бологом.

Проводник продолжал свою работу, не обращая на меня никакого внимания. Потом с очередной порцией простынь, наволочек и полотенец прошагал мимо меня, как мимо пустоты.

Я двинулся к выходу, и уже на площадке вагона проводник окликнул меня.

— Эй ты, подожди...

Я повернул к нему свое помятое лицо. Он испытующе посмотрел мне в глаза и произнес:

— Только меня ты в это дело не путай.

Я согласно кивнул.

— Была у него одна особенность... У него от виска вниз шел такой рубец, шрам... синий... Как будто кусок кожи выдрали...

Тут память опять скакнула на год или два вперед.

В 1961 году я впервые поехал за рубеж, во Францию. Это называлось «специализированный туризм». В иностранной комиссии писательского союза сколотили группку из сочинителей. Мы сами, разумеется, оплачивали и проезд, и пребывание. Но программа поездки предполагала не только знакомство с музеями, достопримечательностями и, само собой, магазинами, но и общение с французскими коллегами. Наша группа (в отличие от делегаций, которые ездят за государственный счет) состояла из двух литературных мастодонтов, трех прозаиков военного поколения и меня, молодой поросли и надежды советской литературы. Встречи с французскими писателями оставили унижительное впечатление. Наши заграничные собратья отнюдь не были высокомерными, наоборот, — люди воспитанные, они держались любезно и даже приветливо. Но было ясно, что они не только не читали никого из нас, но и никогда не слышали наших фамилий. Не исключено, что в глубине души они считали кое-кого из нас, если не всех, агентами КГБ, посланными за рубеж под писательской крышей.

Рассказывали, что драматург Н. Ф. Погодин, который был убежден в своей всемирной известности, после подобной поездки в Америку от огорчения и обиды умер.

Вернувшись из Франции, я неожиданно получил повестку: мне предлагалось явиться на 1-ю Мещанскую (она же проспект Мира), в городскую ГАИ в определенный день и час. У меня уже около года была машина, новенький «Москвич». Я судорожно стал рыться в памяти — что, где и когда я нарушил, но никаких автомобильных грехов за собой не нашел. Советский человек привык слушаться официальных бумажек, и я не составлял исключения. В положенное время я подрулил к месту и направился искать комнату, номер которой был обозначен в повестке. В унылом казенном помещении два гаишника играли в домино. Я предъявил им повестку, и они показали мне рукой на дверь в смежную комнату, куда мне следовало идти. Я зашел в такой же безликий кабинет, как и предыдущий. За столом сидел безликий человек в штатском. Он встал из-за стола, протянул мне руку и неразборчиво произнес свою фамилию. Мы сели, и мой собеседник сразу же открыл карты. Оказывается, я не нарушил никаких автомобильных правил, а сам он вовсе не инспектор ГАИ, а работник органов. Он показал мне издали какое-то удостоверение, которое должно было убедить меня в том, что он говорит правду. Но этого он мог и не делать. Я как-то сразу поверил, что он действительно оттуда. Этот серый человек для начала отпустил несколько комплиментов по поводу моего дарования, сказал, что не сомневается в моем патриотизме, что он надеется на мое согласие помогать их организации... Застигнутый врасплох, не ожидавший ничего подобного, я промычал в ответ нечто невразумительное, что при желании можно было трактовать и как согласие, и как отказ. Дальше начался

конкретный разговор. Он расспрашивал меня о поездке во Францию. Его интересовало все. Не отлучался ли кто из писателей? Может, кто-то не ночевал в отеле? Кто с кем встречался? Не вел ли себя кто-то из группы странно? Может, у кого-то было много валюты... Я не понимал, под кого он рыл, что именно хотел выудить из меня, но твердо знал — надо быть осторожным. Я обо всех своих попутчиках говорил в превосходной степени, рассказывал о патриотизме каждого члена нашей группы, хвалил талант и классовое чутье. Я видел, что каждая моя последующая фраза огорчает кагэбэшника. Я ускользал, как угорь. Вот уж к чему у меня никогда не было никакой склонности, так это к доносительству. Бесплодно промучившись со мной более часа, он сказал:

— Вы все-таки, Олег Владимирович, подумайте как следует. Я уверен, что вы наверняка вспомните кое-что. Вы произвели на меня очень благоприятное впечатление.

И сексот назначил мне новое свидание — на этот раз в гостинице «Киевская» около вокзала в одном из номеров. Встреча наша должна была произойти через двое суток где-то в Середине дня. Какими отвратительными казались эти двое суток! Не скрою, я боялся! Слишком еще свежи были в памяти ужасы, связанные с Лубянкой. Я понимал — не расколуюсь ни за что, но от этого у меня только портилось настроение. Я знал, насколько мстительна организация, и ожидал для себя неприятностей. А их у меня лично, во всяком случае серьезных, пока еще не было. Я шел на второе свидание, как на пытку. Главное, я ни с кем не мог поделиться тем, что со мной происходит, — чекист потребовал, чтобы я хранил в тайне наши с ним рандеву. В гостинице дежурная по этажу, указав назначенную мне комнату, недобро усмехнулась. Я понял, за кого она приняла меня, — за стукача. Номер был двухкомнатный, у нас их называют полулюксами

(«осетрина второй свежести»), нежилой. Я сообразил, что КГБ специально снимает эти апартаменты для разных своих дел. Может, там была установлена и подслушивающая аппаратура. Я попытался представить, что происходило в этих комнатах за многие годы, и мне стало не по себе. Вообще богатое воображение скорее недостаток, чем достоинство. Вербовщик уже ждал меня. Опять началось мытье да катанье. Он снова собрался выпытать у меня какие-то компрометирующие подробности о моих попутчиках, но я твердо стоял на позициях соцреализма, говорил обо всех только хорошее и отличное. На самом деле у нас была общая тайна, но мы поклялись друг другу там, на пляс Пигаль, никому об этом не рассказывать. Мы коллективно побывали в одном подвальчике на стриптизе, что ни в коем случае не рекомендовалось, вернее, запрещалось и даже считалось чем-то аморальным, пачкающим советского человека. Но, думаю, не это интересовало куратора писательской организации. То, что он работал «опекуном» писателей, я понял уже в следующей беседе. Осознав тщетность своих усилий в случае с французской поездкой, он стал вести светскую беседу о редколлегии «Юности», где я публиковался, спрашивал о тех, с кем я общаюсь в Малеевке (это наш Дом творчества), что я думаю о том или другом писателе, как оцениваю их взгляды. Знали бы те литераторы, о которых он меня расспрашивал, какие лестные эпитеты я им отвешивал, как восхищенно говорил о тех, кого недолюбливал или считал бездарным, как высоко ценил гражданские, патриотические качества всех писателей поголовно. Но — увы! — никто из них не ведал и не догадывался о том, как замечательно я думаю о всей нашей писательской братии. Мой собеседник оказался весьма сведущим человеком, в особенности в личной жизни многих. Он знал, кто с кем дружит, живет, враждует. Наконец,

устав от однообразия моих ответов, он снова назначил мне свидание, на этот раз через неделю в этом же номере гостиницы. На третью встречу я шел с тем же ощущением гадливости и, пожалуй, с тем же испугом. Ибо не знал, куда и как повернет этот мерзкий, вежливый субъект, ощущавший за собой огромную силу мощного аппарата тайной полиции. Но третья попытка завербовать меня оказалась, по счастью, и последней. Еще раз намаявшись с моим безупречным отношением ко всем без исключения, агент, вероятно, махнул на меня рукой.

Прощаясь, он предупредил меня:

— Если вы увидите меня в Доме литераторов, или на каком-нибудь писательском собрании, или в Доме творчества, делайте вид, что вы со мной не знакомы, и не здоровайтесь со мной.

Я с радостью обещал ему это. Тут-то я и понял, что он откомандирован своим ведомством следить за писателями. Я бы не рассказывал о попытке сделать меня стукачом, если бы знакомство с филером не продвинуло меня в истории со смертью отца. Через месяц или два я оказался на премьере в Доме кино. Там в толпе увидел какую-то знакомую физиономию. Я, конечно, поздоровался и, только пройдя мимо, уже спиной понял, кого я поприветствовал. Это был тот самый тип, который соблазнял меня работать в охране. Я обернулся. Он не обращал на меня никакого внимания и с кем-то беседовал. Я перевел взгляд на человека, с которым разговаривал мой знакомый незнакомец, и обмер. На лице его собеседника от виска к щеке шел широкий синий рубец. Как будто в этом месте у него была вырвана кожа. Мне почудилось, что я узнал попутчика отца, но с таким же успехом мог и ошибиться. Надо было невзначай познакомиться с ним, выведать, кто он. Но я не понимал, как к этому подступить.

...Дойдя до этого места своего повествования, я вдруг ощутил, что в истории, которую рассказываю, появился эдакий монте-крстовский налет. Надо же — загадочный убийца со шрамом! В этом, конечно же, есть нечто дюмаобразное. Если следовать правде двадцатого века, то могучий фискальный спрут, запустивший щупальца в каждую клетку страны, несомненно, маскировал своих агентов, гримировал их под типичное, незаметное, избегал ярких опознаваемых примет. И тем не менее человек с синим рубцом, идущим от виска к щеке, стоял передо мною...

И еще одна невеселая мысль посетила меня, когда я окидывал взглядом написанное. Мало того, что я традиционалист, с этим как-то можно было бы и примириться. К несчастью, я еще и беллетрист. Беллетристика, судя по общественному мнению, созданному критиками, — это нечто второсортное, некая потребительская или, если хотите, коммерческая литература для быдла. Постепенно возникло общественное мнение о такого рода кинематографе, драматургии, прозе и живописи. Общественное мнение, кстати, сейчас стало играть у нас первостепенную роль. И это просто замечательно! Раньше считались лишь с мнением начальства, а сейчас только с общественным. Правда, диктат общественного мнения оказался, как ни странно, куда сильнее, нежели в тоталитарную эпоху партийный диктат, именовавшийся почему-то диктатурой пролетариата. Раньше похвалить отлученного, крамольного Солженицына было опасно, могли последовать оргвыводы. Зато в наши дни сказать о Солженицыне, что он бывший лагерный стукач, с оперативным псевдонимом «Ветров», вовсе уж невозможно. Могут не подать руки. По мне и тот, и другой экстремизм одинаково неприемлем. А что касается беллетристов, то их, думаю, принижают именно те писатели, которые сами не в состоянии

сочинять занимательно, кто не владеет сюжетом и интригой. Но поскольку история, которую я описываю, не имеет отношения к литературоведению, продолжу рассказ...

Итак, следовало познакомиться с человеком, который беседовал с агентом. Через пятнадцать минут должен был начаться показ нового итальянского фильма, кажется, феллиниевской «Сладкой жизни». Я осознавал, что упустить шанс не имею права. И тут я решился. Я вообще обратил внимание — когда меня загоняют в безвыходное положение, припирают к стенке, я частенько оказываюсь способен на нечто непредвиденное, в том числе и для самого себя. Я подошел сзади к человеку со шрамом и сильно хлопнул его по плечу:

— Здорово, Боб! Сколько лет, сколько зим! Совсем скрылся с моего горизонта! — Я и сам не знал, что произойдет дальше.

Боковым зрением я отметил удивленные глаза писательского куратора. «Боб» повернулся ко мне и смерил меня взглядом.

— Извините, но вы ошиблись! Я не Боб!

Честно говоря, я не знал, настаивать ли мне на том, что он Боб, или признать свою ошибку и попросить прощения. Времени для размышлений практически не было.

— Вы так похожи на Боба, это мой школьный товарищ. Ради всего, извините. У меня неважная память на лица, — И я протянул ему руку. — Горюнов Олег Владимирович. Слышу писателем.

Человек со шрамом пожал мою руку и взглянул на агента.

— Кстати, вас, — обратился я к вербовщику, — я тоже где-то видел. Но не могу припомнить где. Вы не подскажете?

— Я вас вижу впервые, — не моргнув глазом, соврал чекист.

— Вы с «Мосфильма»? — спросил я их, понимая, что отступить мне некуда.

— Нас пригласили, — уклончиво сказал зарубцованный. — Мы не из кино.

— Есть еще четверть часа... Может, хлопнем по рюмашке по поводу знакомства? — Я чувствовал, что остаюсь с носом. — Я угощаю...

Они обменялись взглядами. Они явно не понимали мотивов моей настырности.

— Вы, по-моему, уже хлопнули, — улыбнулся кагэбист.

— Самую малость, — согласился я, — Но не вредно добавить! Кстати, ваш приятель из вашего ведомства? А то у меня есть что вам сообщить.

— Нет, нет, — вдруг быстро сказал тот, ради которого я и затеял весь спектакль. — Я врач. Доктор наук Поплавский Игорь Петрович. Читал ваши повесть и рассказы... Примите мое восхищение...

— Спасибо. Тогда тем более это надо отметить.

Они нехотя подошли вслед за мной к стойке. Я заказал три коньяка и пару плиток шоколада.

— Игорь Петрович и...

— Сергей Иванович, — подсказал свои то ли подлинные, то ли вымышленные имя и отчество недоумевающий шпик. Он пытался понять, ради чего я затеял эскападу, но было видно, что он терялся в догадках.

— Поскольку вы, Игорь Петрович, как я понял, знаете, где служит Сергей Иванович, поэтому я признаюсь при вас. Мне очень стыдно, что я не открыл этого вам при первой нашей встрече. Во Франции, — я понизил голос, — мы всей группой совершили недостойный поступок. Мы коллективно сходили на стриптиз.

Жаль, не было кинокамеры, чтобы передать всю гамму чувств, которые пробежали по лицу моего вербовщика.

— А вы, оказывается, шутник, — проскрипел он.

— А вы не знали? — фамильярно засмеялся я, — Будем знакомы! Ваше здоровье!

Я опрокинул в себя рюмку. Те выпили медленно. Они нутром чувствовали неестественность ситуации, но не могли уразуметь, что мне от них надо.

А у меня в мозгу стучало: врач Поплавский Игорь Петрович, доктор наук. Доктор наук Игорь Петрович Поплавский. Игорь Петрович, врач, Поплавский, доктор наук. Только правда ли все это? Не псевдоним ли? Но большего от моего кавалерийского наскока добиться было невозможно.

— Предлагаю после просмотра пойти в ресторан поужинать, — пригласил я как радушный хозяин, — Угощаю. Гонорар получил.

— Спасибо... Может быть... Увидимся после фильма...

Но после картины я их, конечно, не нашел.

На следующее утро я бросился к ближайшему справочному киоску. Оказалось, что Игорь Петрович Поплавский существует и проживает в Москве. По 09 я узнал и номер его домашнего телефона. Как поступать дальше, я сориентировался не сразу. Потом сообразил. Выяснилось, что я зря не согласился на сотрудничество с органами — во мне погиб сыщик. Я организовал телефонный звонок к нему домой днем, когда скорее всего Поплавский должен был быть на службе. Звонила моя первая жена. Я проинструктировал ее: если подойдет мужчина, то надо положить трубку. Если же в трубке раздастся женский голос, то следует представиться, сказать, что Поплавским интересуются из «Медицинской газеты», и, если ответят, что Игорь Петрович на работе, попросить номер служебного

телефона. Так я получил рабочий телефон человека со шрамом. Следующий шаг — предстояло узнать по номеру, в каком же именно учреждении работает Поплавский. Филер я был доморощенный, и этот, казалось бы, несложный поиск поставил меня в тупик. Ну, не листать же телефонный справочник, сверяя цифры, как в займе. В общем, не стану утомлять подробностями, но в конце концов справился я и с этой задачей. Оказалось, что Игорь Петрович заведует лабораторией в Институте вирусологии Академии медицинских наук, что он действительно доктор медицинских наук и, больше того, лауреат Государственной премии СССР. Я узнал, что у него немало научных трудов, что он преподает в 1-м медицинском и намерен баллотироваться в члены-корреспонденты медицинской академии...

Так рухнула моя гипотеза, подозрение, версия, называйте, как хотите. Тогда соседом отца по купе был другой человек с широким синим рубцом на щеке, а не врач, ученый, доктор наук, лауреат, почти академик. Но как найти ТОГО среди двухсот пятидесяти миллионов, признаюсь, не представлял. Да и, честно говоря, я не жил только этой проблемой. Это сейчас кажется, что я был поглощен исключительно розыском предполагаемого убийцы. Я ведь тогда и не был до конца уверен в том, что отца уничтожили. Колебался и туда, и сюда... Жизнь неслась... Я много работал... Почти по каждой моей повести, практически по каждому рассказу снимался фильм или для кино, или для телевидения. Именно благодаря кинематографу я смог, поднатужившись, купить пришедшую в упадок дачу в писательском поселке у пришедшей в упадок вдовы классика социалистического реализма. Но поскольку речь идет о судьбе отца, перенесемся еще годика на два-три вперед. По моему рассказу «Уроки немецкого» на Валдае снимали фильм для телевидения.

Режиссер пригласил меня на недельку посидеть на съемках, помочь найти стилистику картины, переписать заново одну из ключевых сцен, к которой у него были претензии. Я охотно согласился, тем более что актриса, которую выбрали на героиню, мне очень нравилась, и у меня мелькали по этому поводу весьма радужные мысли. Надо было ехать поездом до Бологого, а там меня встречал микроавтобус съемочной группы. Я много раз проезжал мимо этой станции во сне — поезда в Ленинград и обратно останавливались здесь около четырех утра. И лишь раз я приезжал сюда специально, за телом отца. Обычно в таких случаях мыкаются — надо раздобыть цинковый гроб, преодолеть немыслимые сложности с отправкой гроба, организовать оформление всяческих документов, но в тот раз меня поразила высокая организованность дела. Просто я тогда не подозревал, что конвейер транспортировки покойников был привычен и отлажен...

Я провел несколько дней на съемках, помог режиссеру. Жили мы в Доме колхозника в райцентре, где для меня, постановщика и исполнителей главных ролей организовали по отдельной комнате, естественно, без удобств. Кое-кто поселился в частных избах. Со жратвой тоже обстояло неважно, хотя администрация группы билась изо всех сил. После каждого обеда, напоминавшего войну и эвакуацию, режиссер говорил одну и ту же фразу:

— ОНИ утверждают, что бытие определяет сознание. Так вот, как ОНИ нас кормят, так мы им и снимаем...

Через несколько дней я, отправился восвояси. С актрисой ничего не вышло. Место, на которое я целил, было уже занято оператором фильма. Роман с оператором, впрочем, не мешал исполнительнице

играть хорошо. А, может, наоборот, помогал. Ибо рассказ был написан именно о любви.

Меня снова привезли в Бологое. И я снова погрузился в воспоминания. Вдруг я подумал — в нашей бумажной стране, где документ важнее человека, не может быть такого, чтобы не осталось какой-нибудь записи в каком-нибудь гроссбухе. Я решил дождаться утра, сдал билет и прокемарил в зале ожидания. Впервые я видел, как снуют поезда между Москвой и Ленинградом, не из окна вагона.

Утром я пошел к начальнику станции. Я поинтересовался, не ведут ли они ежедневный журнал, служебный дневник того, что происходит на станции. Оказалось — ведут, и дежурный, сменяясь, передает его следующему дежурному. Но события, происшедшие с пассажирами, — заболел, обворовали, отстал от поезда, потерял багаж, умер, если только не попал под поезд, — не заносятся. Надо идти в железнодорожную милицию или больницу. Милицейский капитан, когда я объяснил ему свою просьбу, отнесся ко мне, как водится, недоверчиво. Я показал ему членский билет Союза писателей, водительские права, паспорт, удостоверение, разрешающее мне входить на киностудию, и еще что-то. И только тогда, крайне неохотно, он допустил меня в чулан, где валялись старые амбарные книги, в которых записывались милицейские протоколы и прочие сведения. Для порядка он приставил ко мне милиционера. Предстояла еще та работка. От пыли, грязи и паутины я регулярно чихал. Я листал пожелтевшие, местами некогда подмокшие и кое-где обгрызенные крысами страницы. Передо мной предстал чудовищный парад русской безграмотности, такой, что порой невозможно было докопаться до смысла. Разумеется, амбарные фолианты не были разложены по годам, иногда трудно было различить дату. То, что я читал, оказалось, по сути,

своеобразной фотографией, достоверной фиксацией последних лет сталинского режима. Это был слепок, сделанный с реальной жизни провинциальной железнодорожной станции тех лет. Редкий день проходил без происшествий.

Убийства, несчастные случаи, пьянки, поножовщина, изнасилования, драки, воровство, растраты, грабежи. Но я искал регистрацию смертей в поездах. Их тоже оказалось немало — выбросили на ходу из поезда, зарезали по пьянке, самоубийства. Но я искал другое. Мы сделали с моим охранником перерыв на обед, я покормил его и себя какой-то необъяснимой бурдой в пристанционной столовке. А потом мы снова вернулись в чулан. Я устал, но чувствовал себя как ищейка, когда след становится все более и более свежим. Наконец я наткнулся на запись, которую жаждал найти. Запись была от 13 февраля 1952 года. «Пасс-р ск. поезд № 2 Горюнов Вл. Ив., 1902 г. р. Смерть в поезде. Мед. закл.: инфаркт миокарды. 15 февр. труп отпр. Моск.». Ничего нового, кроме того, как пишется слово «миокарды», найти не удалось. Правда, за 52-й год я обнаружил еще 9 смертей с аналогичными записями, а за 51-й год — 19. Предположить, что все эти смерти оказались ненасильственными, было трудновато. На всякий случай я переписал все фамилии и имена-отчества погибших в записную книжку. Кто-то из родных настаивал тогда на проведении вскрытия, но мать категорически отказалась. Она, да и я, безоговорочно верили медицинской справке. Делать вскрытие казалось нам в те горькие дни бессмысленным издевательством над близким человеком...

В общем, я примирился с тем, что так и не узнаю тайны. Прошло еще много лет, наверное, около двадцати, пока я снова не проявил детективного интереса к этой загадочной истории. Недавно, уже в горбачевское время, в газете «Московские новости»

появился материал — документы из следственного дела Берии. Вот несколько цитат:

«Лист 69»

«...Изыскивая способы применения различных ядов для совершения тайных убийств, Берия издал распоряжение об организации совершенно секретной лаборатории, в которой действия ядов изучались на осужденных к высшей мере уголовного наказания...»

«...Майрановский вместе с работавшими у него врачами и лаборантами производили умерщвления арестованных путем введения в организм различных ядов... через пищу, путем укола тростью или шприцем...»

(Особая папка)

«Лист 70»

«...При производстве таких опытов в секретной лаборатории было умерщвлено не менее 150 осужденных...»

(Особая папка)

«Лист 71»

«...Майрановский показал: «...Кто были эти лица, я не могу назвать, так как мне не называли их, а разъясняли, что это враги и подлежат уничтожению. Задания об этом я получал от Л. П. Берии, В. Н. Меркулова и Судоплатова... Мне никогда не говорилось, за что то или иное лицо должно быть умерщвлено, и даже не называлась фамилия... Я не могу точно назвать, сколько лиц мною было умерщвлено, но это несколько десятков человек... Да, для меня достаточно было

указания Бери и Меркулова. Я не входил в обсуждение этих указаний и безоговорочно выполнял их...»

(Особая папка)

«Лист 72»

«...Майрановскому была присвоена ученая степень доктора медицинских наук...»

(Особая папка)

Можно представить, с каким интересом я все это прочитал. Егор Яковлев, редактор «Московских новостей», был моим старинным приятелем. Лет двадцать назад, когда он придумал и начал издавать журнал «Журналист», он сделал попытку опубликовать еще одну мою «нежелательную» повесть, которую отвергло несколько периодических изданий. Были уже гранки, верстка, но до публикации не дошло. Цензура не дремала и выдрала повесть на последнем этапе. Тот номер «Журналиста» был очень худеньким. Гранки где-то лежат у меня в архиве, но сам я уже их никогда не найду. В том, где что лежит, разбиралась только Оксана. В наше смутное время я регулярно печатался у Егора в его по-настоящему превосходной газете. К сожалению, больше того, что содержалось в публикации, в редакции никто не знал. У Егора была вертушка, и он помог мне, как говорили бюрократы, «выйти» на генерала КГБ, в ведении которого находились архив и реабилитационные дела. На следующий день, объехав по площади вокруг обгаженного птицами зловещего монумента «железного Феликса», я припарковался на Пушечной, между «Детским миром» и Центральным Домом работников искусств. Отсюда было недалеко. Не скрою, хотя времена стояли другие, но все равно я ощутил

легкий трепет, когда прошел через подъезд, ведущий в «святая святых» грозной, кровавой мясорубки.

Генерал — он был, разумеется, в штатском — оказался не только моим поклонником, но и демократом. Он ратовал за деполитизацию органов, за открытие всех секретных архивов и спецхранов, за публичное покаяние своего ведомства. Был улыбчив, внимателен, угощал чаем и рассказывал антисоветские анекдоты. Я изложил свою просьбу: узнать, не работал ли Игорь Петрович Поплавский, доктор медицинских наук, в секретной лаборатории Майрановского или в каком другом тайном медицинском учреждении их ведомства. Он обещал узнать, записал номер моего домашнего телефона, хотя, думаю, в моем досье он фигурировал. Под конец беседы генерал вытащил из ящика стола две моих книжки — роман и сборник повестей — и попросил сделать дарственные надписи. Я надписал. У меня было две дежурных формулы, впрочем, достаточно сердечных, к которым я прибегал, когда давал автографы незнакомым людям. Почему-то — инстинкт, что ли? — я не очень верил, что генерал сообщит мне правду, и на следующий день, не дожидаясь сведений с Лубянки, отправился в Институт вирусологии, где член-корр. Академии медицинских наук Поплавский по-прежнему заведовал лабораторией. Я заглянул в отдел кадров, но не к начальнику, а в комнату, где сидели две барышни. Отмычкой для меня служило то, что благодаря телевидению население страны знало меня в лицо. Недаром Оксана, когда возникала какая-нибудь щекотливая ситуация, говорила мне:

— Иди, покажи личико!

Я шел и показывал. И сразу же начинались приветствия, похлопыванье по плечу, всякие лестные слова, и все частенько оборачивалось к лучшему. У нас

очень добрые люди. При этом они крайне неравнодушны к известности...

Для начала я подарил кадровичкам по небольшой книжечке собственных стихов, вышедших в приложении к «Огоньку». Вообще со стихами у меня получилось не так, как у всех. Обычно поэт с возрастом приходит к прозе. Я же начал с прозы и только в пятьдесят лет написал свое первое стихотворение. Потом оно стало песней в картине, которую снимал известнейший режиссер по моему сценарию. А дальше время от времени меня, выражусь-ка я высокопарно, посещала муза Поэзии. К моему стыду, я не помню, как ее зовут. Муза оказалась очень капризной. Иногда она навещала меня часто, порою даже дважды в день, а временами исчезала на два-три месяца, а то и на полгода. Так что стихи сочинялись нерегулярно, да я и не придавал им значения, — долгое время не публиковал. А потом вдруг набралось их около сотни и в разных журналах появились подборки. Но хотя время было не для стихов, некоторые композиторы сочиняли на них музыку. В результате недавно, к моему изумлению, «Мелодия» выпустила пластинку: я читаю там разные собственные стихи, а разные певцы и артисты поют мои вирши на музыку разных композиторов. Некоторые песни были вполне популярны. Как говорят в Одессе, у меня вышло сразу две пластинки: первая и последняя...

Я пудрил мозги барышням из кадрового отдела, врал, что сочиняю книгу о вирусологах, и поэтому мне надо знать биографии некоторых ученых: мол, как они дошли до жизни такой. Барышни охотно вытаскивали с полки личные дела. Сначала я записал анкетные данные директора института, потом назвал одну известную фамилию и ознакомился с его прошлым, потом настала очередь Поплавского. Девушки его очень хвалили, говорили о внимательности, интеллигентности, мягкости. Я тем временем читал

анкету, которую вообще-то они не имели права мне показывать. Год рождения — 1921-й, во время войны — в 1944 году — окончил медицинский институт в Саратове, окончил с отличием и сразу попал на работу в спецполиклинику НКВД, потом МГБ, потом КГБ, откуда перешел в 1954 году в НИИ вирусологии АМН СССР. Докторскую диссертацию защитил совсем молодым, еще в 1952 году, работая в загадочной спецполиклинике. Тогда же был награжден двумя орденами. Интересно, за что? Остальные награды, звания, должности, степени были получены уже на гражданке. Девчата хотели ознакомить меня еще с личными досье молодых ученых, но я неожиданно потерял интерес. Поблагодарив нарушительниц кадровой дисциплины, я смылся, сказав, что говорить о моем визите никому не стоит. Но и сами барышни, как-то отрезвев от эйфории, вызванной встречей с популярной персоной, обещали мне полную тайну. Впрочем, это было в первую очередь в их интересах.

А к вечеру позвонил генерал с Лубянки. Сокрушенным тоном он поведал мне, что Поплавский Игорь Петрович никогда не работал в медицинских организациях правоохранительных органов. Я поблагодарил, извинился, что доставил ему лишние хлопоты, и повесил трубку. Про КГБ мне стало понятно все — своих они не выдавали.

Теперь у меня не было сомнений, кто именно убил отца. Но что я мог сделать? И что я должен был сделать? Пойти и убить Поплавского? Но я не умею. Никогда не пробовал. Да и учиться поздно. И ненависти за давностью лет не хватало. Подать в суд? Но неясно, примет ли суд такое дело. И потом, ничего не докажешь. Где этот самый проводник? Неизвестно, какие он даст показания, если его удастся разыскать. А КГБ представит официальный ответ — мол, Поплавский у них не работал. Поехать самому и поговорить,

пригрозить? Во-первых, противно, да убивец ни в чем и не признается, отопрется. И я буду выглядеть законченным чудаком на букву «м». А тут как раз и подоспела последняя поездка в Ленинград...

Все, столь долго и подробно рассказанное, пролетело в моем сознании за несколько мгновений. Ведь я вспоминал не фразами, следующими друг за другом, не временными периодами, не логическими построениями, а сумбурно и притом символами, знаками, ощущениями, отдельными репликами, вспыхивающими зрительными картинками — все это каруселью крутилось в мозгу. Обрывки, фрагменты, кусочки, лица, времена года переплелись, образуя странный калейдоскоп, где только я один мог воссоздать целое.

— Я бы хотел, чтобы ты поехал со мной, — сказал я.

Олег отодвинул недочитанный журнал:

— Я готов!

Я отыскал свои записи, сделанные в милицейском чулане Бологого, сунул их в карман, и мы вышли на лестничную площадку.

— Рассказать тебе, куда мы едем? — спросил я.

— Я в общих чертах догадываюсь...

Мы потопали вниз. Милиция уехала. Я открыл дверцу «Волги», надел «дворники» — день был пасмурный, промозглый, — и оба Горюновых уселись в автомобиль.

— Карательная экспедиция началась! — весело сказал младший Олег.

Я косо посмотрел на него, не понимая его радости. Я попытался завести двигатель, он проворачивался, но не заводился.

— Что за черт?

Я увидел, что стрелка, показывающая наличие бензина, находится — аж! — за нулем.

— Нет бензина, — сказал молодой двойник.

— Я же перед отъездом залил полный бак, отстоял два часа в очереди...

— У тебя есть замок на бензобаке?

— Нет.

— Ну, и лопух. Значит, отсосали, выкачали. С бензином, как и со всем остальным...

Я выругался, и мы оба вылезли из «Волги». У меня в багажнике была двадцатилитровая канистра с бензином, предусмотрительно наполненная на колонке. Олег перелил горючее в бензобак, и мы выехали со двора. Я включил радио. Последние годы радио в машине и телевизор в квартире работали у меня непрерывно. Политическая ситуация менялась ежедневно. Пахло военным заговором, переворотом, братоубийственной войной. На глазах наглел бандитизм. Цены взлетали вверх. Жители вооружались, кто чем мог. Злую агрессию излучали глаза каждого. Непрочное балансирование на грани взрыва — такое ощущение не покидало меня последние месяцы. Все это сопровождалось безостановочной говорильней. Депутаты и делегаты всевозможных съездов, конгрессов, конференций соревновались в краснобайстве, предлагая рецепты вывода страны из хаоса, а страна тем временем катилась к такой-то матери.

— ...Правительство подало в отставку, продержавшись всего неделю... Число забастовщиков в столице перевалило за семьсот тысяч... Правые силы консолидируются: российские коммунисты, КГБ, милиция, армия, общество «Память», патриоты, депутаты из группы «Союз» намерены дать бой демократам, которые все время выясняют, кто именно из них левей и прогрессивней. Самая богатая партия — коммунистическая — прочно удерживает позиции в армии и в войсках госбезопасности... — тараторил комментатор. — Ни один из указов Президента не

выполняется. Такое впечатление, что их даже не читают.

Я переключил станцию и услышал знакомый голос одного кинорежиссера, который ставил когда-то фильм по моей пьесе.

— Главное сейчас — сберечь Советский Союз от распада, — говорил талантливый в далеком прошлом постановщик. — Я родился в Советском Союзе и хочу в нем умереть...

— Тогда тебе придется поторопиться, — пробормотал я.

Олег прыснул. Я переключил радио на другую волну. Там вещал командующий крупным военным округом генерал Хромушин, вышедший на политическую авансцену. Генерал говорил темпераментно:

— Нельзя больше допускать анархии — грабежей, забастовок, политической безответственности. Стране нужен твердый порядок. Время болтовни и пустого прожектерства кончилось. Россия не может копировать Запад. У нее свой исторически предначертанный путь.

— Хромушин — кандидат в диктаторы номер один, — пояснил я.

— Это ты мне говоришь! Я же был под его началом в Афганистане, — сказал Олег, — Напился он там кровушки! И нашей, и афганской.

Голос генерала продолжал:

— Люди должны жить в безопасности, ходить на работу, иметь возможность покупать любые продукты. Страна дошла до точки. Больше терпеть невозможно. Соотечественники! Я призываю вас давать отпор политическим болтунам. Россия для русских! Демократизацию надо вводить силой, и такая сила у нас есть... Да здравствуют Родина, держава, коммунизм!..

Мы проехали мимо колонны штатских, вооруженных топорами. Они шли строем, ими командовал сугубо

цивильный человек в очках. На рукаве каждого была повязана черная полоска.

— А это кто такие? — спросил я.

— По-моему, дружина анархо-синдикалистов, — неуверенно ответил младший Олег. — Я начинаю запутываться в этом засратом плюрализме.

Мы проехали мимо митинга правых, где какой-то горлопан орал в мегафон:

— Иностранцы должны жить на специально отведенных для них территориях под контролем вооруженных сил...

— Национал-патриоты — это одни из тех, кто может попытаться свести с тобой счеты, — предположил младший Олег. — Они не любят, когда их обзывают фашистами...

— Давай не будем говорить на эту тему, — попросил я его.

— Прости...

Тут мы врезались в дорожную пробку. Сначала сидели внутри машины, а потом последовали примеру других водителей, которые выползли из автомобилей и, встав на цыпочки, смотрели вперед, пытаюсь понять, в чем же загвоздка. Когда мы, двое Горюновых, тоже оседлали с двух сторон мою «Волгу», то сначала услышали приближающийся неистовый рев множества автомобильных клаксонов, сливающихся в могучий звук, а потом увидели, как несколько сот такси медленно и внушительно пересекали поперечную магистраль.

— Вчера милиционер застрелил таксиста, — сказал кто-то из зевак-шоферов. — Просто так. Беспочвенно.

— Это демонстрация! Таксисты требуют суда над ментом, боятся, что органы его прикроют, — пояснил другой водитель.

Колонна такси проехала, все разбежались по машинам, и вскоре пробка рассосалась...

Наконец мы подъехали к НИИ вирусологии. Это было недавно построенное семиэтажное здание — типичный, безликий архитектурный ублюдок из бетона и стекла.

— У тебя есть какой-нибудь план? — спросил младший Олег.

Я пожал плечами, ибо и сам не совсем понимал, зачем мы едем и что будем делать с этим самым Поплавским.

Заперев машину, мы вошли в вестибюль. Вахтерша объяснила, что кабинет Поплавского находится на пятом этаже и что — она взглянула на доску с номерами и крючками, куда вешались ключи, — он в институте. Мы ехали в лифте одни, и Олег сказал:

— Ничего там не трогай. Не оставляй отпечатков пальцев.

— А ты? — спросил я.

Он вынул руки из карманов и показал, что он в перчатках. Когда он их успел надеть, я не видел. Мы подошли к комнате 513, и Олег постучал в дверь. Из кабинета раздался мужской голос:

— Одну минуту!

Мы стояли в коридоре и ждали какое-то время. Иногда мимо скользили люди в белых халатах, но они не обращали на нас никакого внимания. Я не знаю, нервничал ли я. Меня как бы вообще не было. Наконец из кабинета выскочила молоденькая сотрудница, тоже в белом халате, и сказала, обращаясь к нам:

— Пожалуйста, Игорь Петрович готов вас принять.

Младший Олег подождал несколько секунд, пока она не отошла, потом ловко вытащил из замочной скважины ключ с биркой и открыл дверь. Я следовал его указанию и ни к чему не прикасался.

Поплавский что-то писал. Не отрываясь от работы, он кивнул нам и, показав на стулья, пригласил:

— Присаживайтесь. Слушаю вас.

Младший Олег тем временем вставил ключ в дверь и запер кабинет изнутри. На щелчок замка Поплавский повернул лицо. Я не видел его около двадцати лет. Передо мной в белом халате за столом сидел крепкий седой старик, лет ему должно было быть, по моим расчетам, около семидесяти. Вся его фигура излучала уверенность в себе, здоровье и привычку к власти. Я увидел синюю отметину на его щеке.

— В чем дело? — сказал Поплавский. — Отоприте дверь! Кто вы такие?

Вместо ответа младший Олег сунул ключ от кабинета к себе в карман. У Поплавского была мгновенная реакция, недаром же его молодость прошла в рядах славной организации, всегда стоящей на страже. Он быстро схватил телефонную трубку и начал четко набирать какой-то номер, но и мой новоявленный дружок, видно, тоже прошел неплохую школу в Афганистане. Сильным движением он дернул телефонный шнур и выдрал его из гнезда. Поплавский рванулся к стеклянному шкафчику с пузырьками и колбами.

— Руки на стол! — приказал младший Олег и вытащил из кармана револьвер.

Я не был уверен — либо это мой газовый, а может, учитывая боевое прошлое Олега, о котором я только что узнал, он сохранил со времен войны настоящее оружие. Игорь Петрович после секундного колебания положил руки ладонями вниз. Мне стало казаться, что я смотрю американский детектив, причем ниже сред/ него качества. В очень уж несвойственной роли я здесь находился...

— Кто вы? Что случилось? Предъявите документы... — неожиданно сорванным фальцетом произнес Поплавский. — Что вы от меня хотите?

— Говори, — кивнул в мою сторону Олег.

— Вы обвиняетесь в том, — преодолевая дурноту, усталым голосом начал я, — что в конце сороковых — начале пятидесятих годов убили несколько десятков человек.

— Вы... Горюнов Олег... — он на секунду замялся, — ...Владимирович... Кажется, вы писатель?.. Что за чушь вы несете?

— Вы под видом пассажира приходили в поезд Москва — Ленинград, и у вас всегда оказывался билет в двухместное купе, — нудно продолжал я. — Каждый раз в Бологом из вашего купе выносили покойника. У меня есть показания проводников и список ваших жертв. Кроме того, известно, что до пятидесят четвертого года вы работали в органах...

— Эта штука посильнее, чем фаллос у Гете, — насмешливо перефразировал известную сталинскую фразу Игорь Петрович. — Какая ерунда! Вы что же, подозреваете, что я их убивал?

— Я могу это доказать! — бесцветно сказал я.

— Ой, не можете, — весело парировал Игорь Петрович.

В это время из коридора кто-то дернул дверь, а потом постучал в нее. Поплавский открыл было рот, но Олег тихо скомандовал:

— Молчать. Если крикнете, убью. Револьвер стреляет бесшумно.

Думаю, насчет бесшумности Олег блефовал, а, впрочем, кто его знает. Поплавский поперхнулся, но не издал ни звука. В дверь постучали еще раз, потом мужской голос сказал:

— Наверное, домой уехал...

В тишине были слышны удаляющиеся шаги.

— Продолжай! — кивнул в мою сторону Олег.

— Я требую, чтобы вы сознались в совершенных вами преступлениях!

Каким-то вторым своим существованием я отметил, что недоволен собой. Профессия, наверное, наложила отпечаток — мне казалось, что я изъясняюсь штампованно и литературно. И как-то неэмоционально.

— Это вам нужно для нового романа? — иронично поинтересовался седой человек со шрамом.

— Не тяните время! — оборвал его Олег. — Признавайтесь. Знаете эту формулировку? Чистосердечное признание...

— Это становится смехотворным. Я ученый... Я не понимаю, что вам от меня надо... Все это какой-то идиотизм! Откройте немедленно дверь. И убирайтесь отсюда!

— Не кричите! — лениво процедил Олег. — Мы все равно вам не верим!

Я показал Поплавскому фотографию отца.

— Эта фотография ничего вам не говорит? 12 февраля 1952 года — в этот день где вы были?

— Ну, это уже анекдот! Откуда я могу помнить, где я был почти сорок лет назад!

Фраза прозвучала убедительно. Я чувствовал, что нахожусь в тупике.

— Я думаю, с ним разговаривать — зря время тратить! — вмешался Олег. — Ты был прав, этот орешек не расколется. Ну, поскольку он убивал без суда и следствия, мы поступим с ним так же.

Я оторопело взглянул на Олега. В его интонации я ощутил определенный профессионализм. В свои молодые годы я, разумеется, не был способен ни на такой тон, ни на нешуточные угрозы. Если он и моя младшая копия, то, конечно, только в физиологическом плане. Психологически мы совсем разные. Конечно, Олег воевал, видел смерть и, может, сам убивал. А я типичный штатский, гражданский, штафирка, как говорили раньше. Мне повезло, я ни одного дня не служил в армии. Но, главное, умудрился родиться в

такое время, что проскочил между двумя эпохами — кровавой сталинской и нынешней, которая предвещала недоброе. Пожалуй, кроме мух да комаров, на моей совести нет ни одной жертвы... Однако надо было как-то кончать мучительную для меня встречу с Поплавским. Я не сомневался в собственной правоте, но не мог уловить, что же делать? У меня не существовало никакого опыта в подобных делах.

— Вы работали в лаборатории Майрановского... — Теперь я попытался взять Поплавского на пушку, ибо полной уверенности у меня не было.

— Это вранье! — вдруг вспыхнул Игорь Петрович, как будто я прикоснулся к больному месту. — Ко мне уже приходили по этому поводу. Еще в 1962 году. И я доказал, что не имею отношения к тем убийствам. У меня была своя лаборатория. Мы занимались другими проблемами... Можете проверить, все запротоколировано... И вообще — все это травой поросло... Вы все равно ничего не сможете доказать!

Фраза «Вы все равно ничего не сможете доказать» оказалась явно лишней. Она подтверждала то, что рыло у него в пуху, вернее, в крови. Произнеся эти слова, Поплавский явно потерял самоконтроль, дал маху... Я бесстрастно — чувства мои находились в каком-то подавленном состоянии, — даже, пожалуй, нудно произнес:

— Хочу предъявить вам несколько десятков фамилий. Это фамилии людей, которых вы уничтожили.

И я принялся зачитывать скорбный список умерщвленных.

— Эти фамилии мне ничего не говорят, — перебил он меня, но я упорно продолжал чтение.

Когда я наконец произнес фамилию отца, он хлопнул себя по лбу:

— Теперь я, наконец, понял. В поезде умер ваш отец. И вы считаете, что я...

— Да, да... Именно так мы и считаем, — подтвердил Олег.

— Дорогой мой, это недоказуемо, — пожал плечами Поплавский.

— А вы, вероятно, сын Олега Владимировича, судя по сходству, и, стало быть, внук...

— Я тебе, пидор, сейчас покажу «дорогого»! — взбесился Олег.

— Слушай, по-моему, хватит, — обратился он ко мне.

— Неужели ты способен его убить? — изумленно спросил я.

— Да. И буду даже спать лучше обычного. Потому что избавляю мир от гниды.

— У тебя что, действительно бесшумный пистолет? — Этими вопросами я тянул время.

— Не беспокойся. Я сделаю так, что выстрела никто не услышит. Но приговор должен объявить ты. Я лишь исполнитель.

Я отвернулся к балконной двери.

— Ты уверен, что это тот самый? — спросил младший.

Я помедлил с ответом. На душе было тоскливо.

— Да, уверен. Я же его видел тогда.

Я хотел было открыть балконную дверь, но Олег остановил меня:

— Не прикасайся ни к чему.

Внизу среди других машин белела моя «Волга».

— Ну? — поторопил Олег.

— Я никогда никого не убивал, — ответил я.

— Как хочешь, — сказал Олег. — Я знал, что ваше поколение ни на что не способно. Только болтать можете. Мне эта работа тоже не доставляет удовольствия. Предлагаю извиниться и уйти...

Я не видел лица Поплавского, слышал только его шумное, неровное дыхание. Олег ждал от меня одного

только слова, но, как выяснилось, произнести его очень трудно.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты его убивал, — медленно обронил я. — Ты — это все равно что я. Но и безнаказанным его оставить невозможно. Я себе этого потом никогда не прощу.

Поплавский молчал. Я по-прежнему смотрел в окно.

— Слушай, писатель, — съехидничал младший Олег, — тогда придумай что-нибудь. Фантазия входит в твое ремесло.

— Пусть он умрет такой же смертью, как и отец, как и другие. От яда... — И хотя эту фразу сказал я, мне почудилось, будто она произнесена кем-то другим.

— Недурная мысль! — ерническим тоном подхватил Олег, — Ты действительно замечательный выдумщик, мастер своего дела! Только придется об этой услуге попросить самого Игоря Петровича. Ему, как говорится, по этой части и карты в руки. Дорогой палач! Окажите, пожалуйста, услугу моему слабонервному партнеру, а заодно и мне. Сделайте одолжение, примите, пожалуйста, сами, без нашей помощи, какой-нибудь цианистый калий или что-нибудь эдакое, не менее слабое, чтобы результат был летальный...

Тут я не выдержал и повернулся к Поплавскому. По лицу его от страха крупными каплями тек пот. Он, не отрываясь, смотрел мне в глаза.

— Ну, ладно, я устал. Давай закругляйся или я тебя заставлю выпрыгнуть с балкона. Все равно придут к выводу, что ты покончил с собой, — грубо сказал убийце в белом халате Олег.

Сначала меня резануло это фамильярное «ты». Но потом вдруг, без перехода, в глубине души во мне оскалилось что-то хищное. Мне захотелось своими руками задушить эту гадину. Я захрипел, затрясся, изо рта потекла слюна. Я сделал шаг к Поплавскому. Жажда отмщения захлестнула меня. Это был,

несомненно, припадок. Я впервые в жизни почувствовал себя готовым к тому, чтобы уничтожить человека, затоптать его ногами. Это был какой-то невероятный всплеск жестокости, насилия, желанья убивать.

— Я тебя сам уничтожу! — пошевелил я губами. И с трясущимся от ярости лицом пошел на Поплавского.

И тут произошло неожиданное. Видно, под влиянием моего ненавидящего взгляда, убежденный, что я примусь его душить, приговоренный, поняв, что пощады не будет, вынул из стеклянного шкафа какой-то пузырек, поднес к губам и сказал:

— Единственное, о чем я жалею, — что мало вас истребил!

Затем последовали матерные слова, которые незачем приводить, ибо их и так все знают.

И Поплавский залпом выпил содержимое. На губах смертника показалась пена, черты лица его исказились, и он медленно сполз на пол. Несколько судорог тела, и все было кончено. На лице появилась легкая синюшность. У меня опять возникло ощущение, что я не только участник, но и зритель посредственного зарубежного детектива.

Я на ватных ногах направился к двери. Олег на секунду склонился над мертвецом и последовал за мной. Мы вышли в коридор. По счастью, никто нас не видел. Олег — его хладнокровие потрясло меня — запер дверь снаружи на ключ и забрал ключ с собой. Когда спускались на лифте, я прятал от Олега свое лицо.

Я видел смерть много раз. На моих руках умерла мать. Я вынимал из петли труп своего приятеля — поэта и сценариста, покончившего с собой в Доме творчества в Переделкино. Больше того, я почти три года работал на «Скорой помощи» и посмотрелся мертвецов предостаточно: и убитых, и самоубийц, и умерших от болезни, и задавленных машиной. Но все это было что-

то другое. Там я всегда пытался спасти человека, а тут... А я ведь по первой своей профессии все-таки врач, клятва Гиппократова и всякие прочие заповеди...

— Слушай, я не понимаю, почему он не закричал? — спросил я вдруг у соучастника, — Ведь сейчас день, институт набит сотруженниками...

— Он ведь профессиональный убийца. Он понимал, что я его пришью, прежде чем он закончит орать первое слово.

— А ты бы действительно это сделал?

— Господи, какой ты хлюпик!.. А насчет яда — это ты лихо придумал...

Я долго не мог открыть дверь «Волги», автомобильный ключ не попадал в прорезь. Меня колотил озноб.

— Убивать человека, даже мразь, преступника, сволочь, особенно с непривычки, — тяжеленное дело, — усмехнулся Олег. — В о второй раз небось будет полегче... — Он увидел, как меня трясло. — Давай, я поведу...

Я согласно кивнул и передал ему автомобильные ключи. Олег сел на водительское место. И вдруг меня начало рвать. Я зашел за багажник машины, склонился и блевал. Меня выворачивало наизнанку. Олег терпеливо ждал. Потом я упал на пассажирское сиденье, и мы помчались домой. По дороге Олег выбросил ключ от кабинета Поплавского в Москву-реку. Во мне была какая-то разрушительная пустота, как в прямом, так и в переносном смысле. Не помню, как я взобрался к себе, на седьмой этаж... Не помню, что было потом. Кажется, я повалился на тахту. Олег давал мне что-то успокоительное. Я послушно пил капли, но лучше мне не становилось. Вдруг раздался телефонный звонок. Трубку снял Олег.

— Тебя...

Я слабой рукой поднес телефонную трубку к уху и услышал следующее:

— Добрый день, Олег Владимирович, было очень приятно познакомиться. Это Поплавский. Да-да, Игорь Петрович. Он самый. Воскрес из мертвых, как Христос. Я принял безвреднейший препарат, остальное, как говорится, было делом техники. Знаете, в любой специальности нужно владеть профессией, а вы и ваш отпрыск оказались дилетантами. Эта любительщина вам дорого обойдется. В общем, теперь я ваш должник. Ждите, должок возвращу в самом скором времени... — И Поплавский повесил трубку.

Когда-то, не помню уж точно когда,
на свет я родился зачем-то...
Ответить не смог, хоть промчались года,
на уйму вопросов заветных.

Зачем-то на землю ложится туман —
все зыбко, размыто, нечетко...
Неверные тени, какой-то обман,
и дождик бормочет о чем-то.

О чем он хлопочет? Что хочет сказать?
Иль в страшных грехах повиниться?
Боюсь, не придется об этом узнать,
придется с незнаньем смириться...

От звука, который никто не издал,
доходит какое-то эхо...
О чем-то скрипит и старуха изба,
ровесница страшного века.

И ночь для чего-то сменяется днем,
куда-то несутся минуты.
Зачем-то разрушен родительский дом,

и сердце болит почему-то.

О чем-то кричат меж собою грачи,
земля проплывает под ними...
А я все пытаюсь припомнить в ночи
какое-то женское имя.

Зачем-то бежит по теченью вода,
зачем-то листва опадает...
И жизнь утекает куда-то... Куда?
Куда и зачем утекает?

Кончается все. Видно, я не пойму
загадок, что мучают с детства...
И эти «куда-то», «о чем-то», «к чему»
я вам оставляю в наследство.

Глава третья

Плата за жизнь — это факт самой жизни, то, что ты возник в природе и существуешь. И как бы ни была непомерна цена, жизнь все равно дороже. Обидным было не то, что я должен умереть, не успев еще чего-то написать. Это мура! Все, созданное писателем, не отражает и сотой доли прожитого им. Но со смертью исчезает существо, которое уносит с собой все то единственное, уникальное, присущее только ему. Первый поцелуй был у каждого, но у каждого по-разному. Девушка становилась женщиной, а мальчик мужчиной, но у всех это происходило не так, как у другого или другой и не с тем или не с той. Да, конечно, никому из живущих не избежать одинакового, похожего, из чего, собственно, и состоит человеческое житие: и любовь, и потеря близких, и дружба, и измена, и работа, и предательство, и карьера, и постыдные тайны, и грешные мысли, и знания, и невежество, и нежность, и агрессия, но у каждого экземпляра все это сочетается в разных мере и степени, в иных обстоятельствах и условиях. Ты никогда не сможешь возникнуть снова в тех же пропорциях добра и зла, с идентичной внешностью, с таким же характером, аналогичным мышлением и адекватными привычками. Отдельные качества могут совпасть, но точно такой же особи появиться не может. Кто сказал — «незаменимых нет»? Незаменим всякий человек, ибо он неподражаем...

Вот уж не думал, что в таком состоянии я смогу уснуть. Однако стресс, вызванный убийством, вернее, по счастью, неудачной попыткой убийства, образовал в организме какой-то физиологический вакуум. Полузабытые, разброд мыслей постепенно перешли в

сон, и я отключился минут на сорок — пятьдесят. Когда я открыл глаза, то почувствовал себя освеженным. После сна сознание постепенно возвращалось ко мне, и идиотский детектив с Поплавским, а главное, его бессмысленный результат, казалось, случились давным-давно, в какой-то иной, бывшей ранее жизни. Или скорей всего этого и не происходило вовсе. Видно, померещилась, приснилась эдакая нечисть. Но тут мой взгляд уперся в спину двойника. Он не знал, что я проснулся. Со страшной скоростью все сегодняшние события открутились обратно, и я осознал, что встреча с Поплавским не мираж, не кошмарное сновидение, а кошмарная реальность. Пусть странная, пусть необычная для меня, но была! Я лежал тихо и не подавал признаков жизни. Олег смотрел по «видяшнику» кассету, которую я снимал в Париже два года назад.

Мы с Оксаной приехали по приглашению знакомых французов, которые предоставили нам свою квартиру. Француз — корреспондент агентства «Франс Пресс» — в это время жил с семьей в Москве, и его трехкомнатные апартаменты на бульваре Тампль пустовали. Мне приходилось и раньше бывать в этом городишке, а Оксана приехала в Париж впервые. Честно говоря, я поездку затеял из-за нее — хотелось показать ей умопомрачительную красоту. Мы шатались по улицам, бульварам, музеям, магазинам. Не обошлось, разумеется, и без подъема на Эйфелеву башню и Триумфальную арку. Мы катались на парходике по Сене. Знакомые эмигранты, наши из посольской колонии и приятели-французы возили нас в Версаль, Довиль и Руан, на русское кладбище Сен-Женевьев де Буа. С большим трудом мы отыскали два дома в Ментоне, столичном пригороде, где жила в эмиграции Марина Цветаева. Денег практически не было, и мы исколесили весь Париж на метро, купив месячные

абонементы — «карт д'оранж», — вроде наших единых билетов. Стыдно признаться, но парижское метро я знаю лучше московского: дома езжу на автомобиле. Вообще это была студенческая, нищенская, беспечная, счастливая жизнь в сказочном городе, который каждый русский любит еще до того, как увидит его наяву. Мы изрядно ходили пешком. Непривычные к ходьбе ноги гудели и ныли. Ели мы что-то самое дешевое с уличных лотков или в плебейских забегаловках. Из привезенных консервов (один чемодан состоял только из консервных банок!) Оксана готовила обед, а я бегал с авоськой в демократический супермаркет, где, пересчитывая каждый сантиметр, покупал овощи, йогурт, минералку и прочее, что тяжеловато было волочь из России. Я пер авоську из супермаркета и наслаждался ощущением, что тебя в этом городе никто не знает. Это была восхитительная анонимность! Днем мы делали антракт, валялись, давая отдых натруженным ногам, читали всякую антисоветчину, которую теперь печатают все наши журналы. И, главное, каждый день любили друг друга. Это был какой-то прощальный медовый месяц. То ли очарование города действовало на нас, то ли отсутствие дел, забот и хлопот, то ли инстинкт — какое-то подспудное чутье, предсказывавшее, что скоро всему конец! Через полгода после возвращения из Франции Оксаны не стало.

Я лежал на диване и смотрел на телевизионный экран, где мелькало любимое лицо. В моих дилетантских съемках участвовала одна главная героиня — моя жена, которую я обожал. А декорацией служил неповторимый Парижск, как называл его Высоцкий. В это время я увлекался очередной игрушкой для взрослых — видеокамерой. Я таскал ее повсюду и снимал все без разбору, по известному принципу: «Что вижу, то пою!» Если вдуматься, мы были самыми ординарными, можно даже сказать, вульгарными

туристами, каких до нас в бессмертном городе побывало сотни миллионов. Просто для нас, вероятно, Париж был более сильным впечатлением, нежели для свободных западных обитателей, ибо мы приехали из огромного, нищего и бесправного концлагеря, где ничего нет и где живет около трехсот миллионов заключенных.

В поле зрения моей любительской камеры попали, конечно, и Люксембургский сад, и Монмартр, и лавки букинистов на Сене, и центр Помпиду с представлениями на площади перед зданием, и музей Родена, и Собор Парижской богородицы, и статуя Свободы, увеличенную копию которой Франция подарила Америке, — в общем, весь туристский набор. Но, главное, почти в каждом кадре присутствовала Оксана. Когда она видела, что объектив нацелен на нее, она тут же, глядя в камеру, начинала прихорашиваться и спрашивала с кокетливой улыбкой:

— Это ты меня снимаешь?

А я нежно грубил ей:

— Дура, кто же зырит в объектив. Ты же все-таки жена сценариста. Да и грим поправляют перед съемкой, а не тогда, когда крутится пленка.

В этой безденежной, но замечательной жизни случались у нас и материальные взлеты. Например, издатель моей книги устроил в нашу честь роскошный обед в дорогом корабле-ресторане, плавающем по Сене. Как говорил в таких случаях один мой приятель, француз гулял нас под «большое декольте». К сожалению, книжку издатель выпустил несколько лет назад, и от тех денег давно ничего не осталось. Когда в посольстве узнали, что я приехал с частным визитом, то попросили выступить перед советской колонией. Я, разумеется, выступил и, конечно, как всегда, «намолол» немало лишнего. Но в свое время, лет, наверное, двадцать пять назад, я сказал себе, что если вылезая

на сцену, трибуну или телевизионный экран, то буду говорить только то, что думаю. От этой собственной установки я перенес немало неприятностей, но меняться было поздно. После так называемой творческой встречи в резиденции посла — роскошном, в позолоте дворце XVIII века, принадлежавшем когда-то знаменитой герцогской фамилии, — состоялся ужин. Посол с женой пригласили, помимо нас, еще и советника по культуре, тоже с супругой. Во время ужина я сцепился с хозяином, руки которого были исколоты низкопробными татуировками, но не это послужило причиной конфликта. Не помню точно, как возник спор с послом, скорее всего во время встречи я бабахнул что-то нелестное о Павлике Морозове и о том, что предателя собственного отца сделали примером для подражания и на его доблестном поступке воспитывали не одно поколение иуд. Во время ужина посол, бывший секретарь уральского обкома, — а Павлик оказался родом из тех мест — вступился за честь земляка-пионера, пел дифирамбы его героизму и что-то рассказывал о музее юного ленинца, который посол в свое время не то открывал, не то организовывал. Я взбесился и понес такое, чего коммунистические уши посла в прямой беседе никогда не слыхивали. Оксана с трудом погасила начавшийся скандал. Ужин закончился в молчании.

На экране телевизора появился «Улей» — дом-ротонда в Монпарнасе, состоящий из мастерских художников. Построенный в начале века, он давал пристанище многим нищим живописцам, которых иногда там и подкармливали. Здесь жила и Шагал, и Леже, и Сутин, и Цадкин, часто бывал Модильяни. Мы постучали тогда наобум в какую-то мастерскую и провели полчаса у симпатичного художника. Всю нашу болтовню, его полотна, детали быта, вид из окна я снял на пленку. Он показал нам приглашение на выставку

русского лубка, и потом мы встретились с этим гостеприимным французом на русском вернисаже.

В «Улей» нас привезли художники-эмигранты, участники знаменитой бульдозерной выставки. Они отнесли к нам с нежностью и даже дарили свои работы. Жаль, что уже не было в живых трогательного Вики Некрасова, с которым я был до его изгнания знаком только шапочно и хотел сблизиться покрепче. Но опоздал. Некрасов — лауреат Сталинской премии за книгу «В окопах Сталинграда» — лежал на русской части кладбища Сен-Женевьев де Буа в какой-то коммунальной могиле вместе с не ведомым никому и, вероятнее всего, ему в том числе, эмигрантом. Я постоял у могилы Бунина и наведалься к надгробию своего друга Александра Галича.

Кстати, наш роман с Оксаной начался зимой в Малеевке, когда там жил и Галич. Каждый вечер после ужина мы собирались вместе, обычно у него в номере. Он помногу пел и не меньше пил, мы трепались о том о сем, а потом Оксана и я уходили либо в ее комнату, либо в мою, и ничего прекраснее, чем те ночи, не было в моей жизни. На телевизионном экране Оксана наклонилась над роскошной черной мраморной плитой и положила несколько цветочков. Таких пышных надгробий у нас в Союзе удостаиваются обычно генералы и маршалы. Рядом с простым скромным крестом на могиле великого Бунина памятник Галичу огорчал неуместным отечественным размахом. И действительно, масштабная плита была делом рук редактора «Континента», который, выпуская антикоммунистический журнал, не мог тем не менее отрешиться от всего того, что его воспитало. И единственное, что отличало Сашину могилу от советской, — текст из Библии: «Блажени изгнани правды ради».

Мы прошли по тихому кладбищу, где у входа белела маленькая, уютная русская церковь. Под крестами, плитами и памятниками лежали есаулы и бароны, поручики и графы, ротмистры и потомственные дворяне. Были и коллективные памятники — врангелевцам, дроздовцам, деникинцам. Я подумал, что все эти люди не ведомы никому на Родине, забыты, выброшены из нашей истории. И еще я с болью в сердце отметил, что более злопамятного и бесчеловечного строя, чем наш, в котором мне довелось прожить все свои годы, наверное, не было никогда в истории. Даже через семьдесят лет после братоубийственной войны наше общество оказалось не в состоянии простить тех, которые тоже любили Отечество, но не так, как большевики. Кстати, большевики-то разорили страну, нанесли ей урон, с которым не может сравниться никакая чужеземная оккупация. А эти самые белогвардейцы, что лежат под Парижем, оказались наказаны самым страшным образом — потерей Родины, смертью на чужбине и полным забвением со стороны соотечественников... Глядя на снятые мною кадры, я еще раз проживал нашу чудесную поездку, все те мысли, настроения, чувства, к которым примешивались сейчас отчаяние и горечь оттого, что некому было сказать: «А помнишь?..»

Тут я заставил себя отвлечься от экрана и постарался вернуться в сегодняшний невеселый день. Двойник продолжал смотреть видеопленку, не подозревая о моем пробуждении. Я потянулся, намереваясь подняться с дивана, и вдруг почувствовал в себе... даже не знаю, как выразиться... определенные мужские амбиции. Хотя сейчас принято выражаться грубо, точно и называть вещи своими именами, мне кажется, в этом есть что-то недостойное русской литературы. Может, я консерватор, пуританин, старомодный обыватель, но отнюдь не ханжа. Кроме

того, отношусь к себе, естественно, с достаточным уважением, поэтому, думается, лучше недосказать, чем впасть в пошлость...

Признаться, такие мужские ощущения, не спровоцированные женским присутствием, посещали меня в последние месяцы не так уж часто, не то что в прежние годы. Этому, наверное, было немало причин: и возраст, и смерть жены, и «первый звонок», случившийся три года назад, когда в результате высокого давления прекратилась подача крови к ушному нерву, и я оглох на одно ухо. Это был своего рода микроинсульт, поразивший, по счастью, не мозг, а ухо. Поэтому, когда в организме призывно звучали — выразимся красиво — эротические трубы, я воспринимал это с чувством глубокого удовлетворения. Значит, еще не все потеряно! Значит, я, черт подери, еще мужчина! Значит, я еще, опять-таки черт подери, живу! Я еще способен, трижды черт подери, на это самое!.. И тут я вспомнил строчки Пастернака, которые только сейчас осмыслил во всей их глубине:

*Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа!..*

Роковой час, между прочим, был на подходе. А с женской лаской дело обстояло далеко не лучшим образом... Я оборвал свой внутренний монолог и сел на тахте.

Олег повернулся ко мне:

— Ну, ты как?

— Для умирающего — замечательно! — сказал я, подошел к столу и взял лист со списком.

У меня была привычка — накануне вечером составлять список дел на завтра. Обычно дел бывало очень много, и я боялся что-нибудь позабыть или

упустить. В этих списках соседствовали важные вещи с пустяковыми, но благодаря «поминальнику» я успевал многое сделать.

Например, записи могли чередоваться в такой последовательности:

1) Зубной врач в 9 часов.

2) Съёмка на телевидении. 10 часов 30 минут.

Студия № 6.

3) Купить творог, кефир и хлеб.

4) Взять костюм из чистки.

5) «Мосфильм» — посмотреть материал. Зал № 10. 3 часа.

6) Аптека — купить снотворное.

7) Заехать в гастроном на «Восстания» за заказом после 5 часов.

8) Лекция на литературных курсах. В 1 час дня.

9) Интервью американцу в 17 часов, в Союзе.

10) Подкачать колеса у машины.

11) Встреча с читателями в 20 час.

12) День рождения Васи — купить подарок и цветы.
(После встречи.)

Случались и иные сочетания. Скажем, починка автомобиля на станции технического обслуживания, визит в Моссовет или на телефонную станцию — выбивать кому-то из писателей, артистов, кинорботников квартиру или телефон. После того как я стал вести телевизионную передачу и меня знала в лицо каждая собака, в том числе и руководящая, количество просьб такого рода — достать лекарство, положить в больницу, похоронить на близком кладбище — увеличилось. И собственных дел хватало. Скажем, нужно было встретиться с директором издательства, которого требовалось убедить в необходимости публикации моей книги; или же забрать белье из прачечной, а ботинки — из ремонта; могла состояться встреча с писателем из провинции, который настырно

сумел мне всучить свою рукопись, а теперь ждал отзыва, или же свидание с сантехником, ибо потекла труба, заливая нижних соседей. Могли пригласить на заседание какой-нибудь бесполезной писательской комиссии, на премьеру в театр, на юбилей, где предстояло выступить с поздравлениями, или же на прием в посольство. А еще родственники, которым все время от меня было что-то нужно. И так далее и тому подобное. Когда я думал о том, сколько километров я наезжал в день по городу, то сам не понимал, когда же успеваю писать...

Так вот на листочке, который я взял со стола, было написано:

ДЕЛА ПОСЛЕ ЛЕНИНГРАДА

1. СДЕЛАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ «ВОЛГЕ».

Ну, это пусть теперь дочь делает, поскольку машина отказана ей.

2. В ПОНЕДЕЛЬНИК В 4 ЧАСА СУД С ГЕНЕРАЛОМ.

Хрен с ним, со старым маразматиком. Доверенность адвокату отдана, могу и не приходить. Хотя, честно говоря, я был бы не прочь обозреть это военное мурло, обвинившее меня в дезертирстве с фронта, и выслушать его извинения. А в том, что старый пердила извинится, у меня сомнений не было. Ибо когда кончилась война, мне еще не стукнуло семнадцати.

3. ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ В ЛОНДОН.

Перебьется, у меня уважительная причина — помер. Жаль, конечно, что не увижу английского издания. Впрочем, я много чего не увижу.

4. ДОГОВОРИТЬСЯ С КРОВЕЛЬЩИКАМИ О РЕМОНТЕ КРЫШИ НА ДАЧЕ, А ТО ВО ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ ПРОТЕКАЕТ.

Пусть договаривается Детский фонд. Я не хотел, чтобы в нашем с Оксаной доме жил кто-нибудь, поэтому завещал дачу детскому дому. Тем более что и у дочери, и у пасынка имелись загородные строения.

5. СЪЕЗДИТЬ В ЛАВКУ ПИСАТЕЛЕЙ.

Я вон какое огромное количество книг не успел прочитать, на фиг мне еще новые, которые я даже не перелистаю...

6. КУПИТЬ ЖРАТВУ.

Тут я задумался. Вообще-то последний пункт в наши дни осуществить совсем не просто. Но если я намереваюсь устроить собственные поминки, то, пожалуй, его надо выполнить. Негоже звать гостей на прощальную пирушку и не угостить их до отвала. Кстати, надо обзвонить, пригласить...

В списке имелись еще кое-какие пункты. Но все остальные отмеченные мной дела и события, предполагалось, произойдут в середине недели и, следовательно, меня уже не касались. Хотя, не скрою, на некоторых мероприятиях я хотел бы побывать.

— Я изучил список твоих дел, — сказал младший Горюнов, выключая видеомаягнитофон, — Чем займемся сейчас?

— Думаю, надо пригласить друзей на ужин, — ответил я. — А потом я хочу заехать на кладбище. После поедем за продуктами.

— У тебя есть какой-нибудь блат? — поинтересовался Олег. — А то ведь ни черта не купишь.

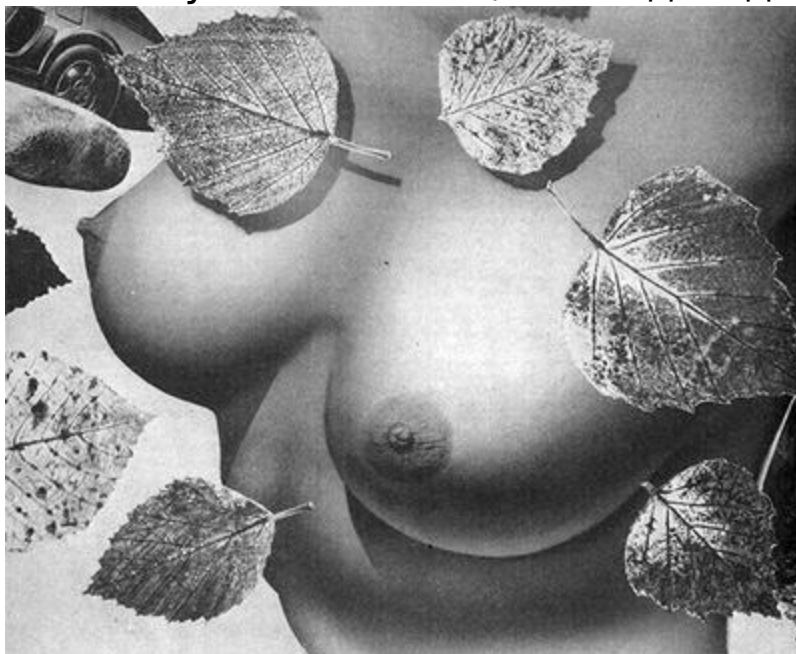
— Обижаешь, начальник, — сказал я, — Как же у нас можно прожить без блата? У меня есть больше, чем блат. У меня имеется меценат — директор «Гастронома». Раньше меценаты посылали на свои деньги художников и певцов в Италию учиться, а сейчас меценатство приняло иные формы. Если вдуматься, довольно-таки уродливые. Ради того, чтобы сказать своим друшкам, к примеру: «Ко мне вчера Мишка Ульянов приходил или Генка Хазанов», директор снабжает кое-кого из популярной братии дефицитом. И при этом ничего лишнего сверх цены не требует. — Сверх он берет с других, непопулярных.

— А тебе не стыдно этим пользоваться? — ехидно спросил двойник, — Ты же у нас прогрессивный. Слывешь совестью.

— Очень стыдно, — покладисто согласился я, — Но хочется кушать. Я только вид напускаю, что принципиальный. А вообще-то только и делаю, что поступаюсь принципами.

— А что это за суд с генералом? — спросил Олег.

— Пока я буду обзванивать друзей, ты можешь познакомиться с кипой доносов от наших славных вояк... Слушай, а ты только мои мысли можешь читать? Что было в башке у Поплавского, ты не догадывался?



Я порылся в письменном столе и достал большой конверт, на котором почерком Оксаны было написано:

«ПЕНТАГОН ПРОТИВ ОЛЕГА».

— У меня было какое-то сомнение: слишком легко он согласился принять яд, — сказал младший. — Но читать мысли я умею только твои. Так что извини...

— Вся эта хренобень с военными началась после моего юбилейного вечера, показанного по «ящику».

— Я видел... и одобрил...

— А министр обороны, в отличие от тебя, очень не одобрил. Силы, как сам понимаешь, неравные — у него бомбы, ракеты, танки, пушки и высокие коммунистические идеалы. А у меня пшик...

В это время в дверь позвонили. Я с изумлением уставился на Олега, тот дернул плечами, и я отправился открывать.

А Олег погрузился в газетные статьи, письма и доносы, которые появились в результате моего телевизионного вечера.

— Вы мне назначили сегодня на три часа, — сказал посетитель, когда я распахнул дверь.

Я с трудом узнал его — это был старик актер из Театра имени Маяковского. Он два раза играл небольшие эпизоды в картинах по моим сценариям, а в театре его фамилия обычно замыкала театральную программку — третий слуга, второй убийца или четвертый горожанин. Он действительно настойчиво домогался свидания со мной, замучил звонками и, отказываясь объяснить, зачем я ему понадобился, каждый раз говорил, что это очень важно, и не для него, а для меня. И что я буду ему очень благодарен за встречу. Наконец я сдался, кляня себя за бесхребетность, и назначил ему встречу. И, конечно, забыл. Я с отвращением смотрел на явившегося сейчас так некстати человека.



Первым порывом было немедленно захлопнуть дверь перед его носом, но вместо этого я выдавил из себя нечто вроде улыбки и сказал:

— Заходите, я вас жду.

Старик, увидев младшего Олега, произнес:

— У меня конфиденциальный разговор!

Я провел его в кабинет, предложил стул и сказал умоляюще:

— Только прошу вас, у меня плохо со временем... Так что вспомним чеховскую сестру таланта, а именно краткость...

Глаза старика лихорадочно блестели:

— Олег Владимирович, дорогой! Вы знаете, страна на грани краха! Всюду развал! Надо призвать правительство к решительным мерам и действиям. И я придумал, как это сделать!

— Но я-то при чем?.. — начал было я, но он вскочил со стула и вдохновенно зашептал:

— Именно вы можете спасти страну! Именно вы в состоянии повернуть курс правительства! С социалистическим путем пора кончать!

Я понял, что имею дело либо с безумцем, либо с фанатом.

— Что я могу сделать? — протянул я, думая о том, как избавиться от посетителя.

И тут он выпалил:

— Вы должны совершить самосожжение на Красной площади! Под плакатом, призывающим правительство к объявлению свободы, демократии и частной собственности!

И старик победоносно глянул на меня, ожидая ответного восхищения.

— Идея действительно интересная... — задумчиво процедил я, но мой собеседник не уловил иронии.

— Я так и знал, что вам понравится. Поэтому я обратился именно к вам.

— Но у меня есть кое-какие планы, которые...

— Никакие личные планы не могут сравниться с интересами страдающего Отечества, — продекламировал гость. Видно, служение музе театра наложило отпечаток на его манеру выражаться.

— Слушайте, друг мой! Мне пришла в голову прекрасная мысль, а почему бы вам самому не совершить этот героический акт?

Ответ у него был готов:

— Потому что будет совсем не тот резонанс! Одно дело, если сжигает себя никому не известный артист, и совсем другое, если эту акцию совершит крупный, известный в нашей стране и за рубежом писатель. Практически классик! Книги которого читали все. Человек, своими телевизионными программами заслуживший любовь народа.

Чем беззастенчивей он льстил, тем больше меня охватывало чувство отчаяния. Оксана все время пилила меня за мягкотелость, за неумение отказывать, за то, что я давал возможность отнимать свое время каждому встречному и поперечному.

— Я помогу вам! — продолжал старик, — Я донесу вам до Спасских ворот канистру с бензином. Пока вы будете гореть, я не отойду от вас ни на шаг и подхвачу плакат, выпавший из ваших слабеющих, обожженных рук! О, страна оценит вашу доблестную жертву. Вы войдете в Историю с большой буквы...

— Олег! — беспомощно позвал я свое второе «я». — Помогите мне. Выстави из квартиры этого ненормального.

— А... а... — завопил старик. — Вот где ваше подлинное лицо! Я знал, что вы ничтожество!.. Я всегда подозревал это!..

Олег молча взял за шиворот старика и поволок его прочь из квартиры. Тот упирался и продолжал орать:

— Шкурные интересы вам дороже несчастий Отечества!.. Трус! Эгоист!.. Я этого так не оставлю! Я буду жаловаться!..

Это была последняя фраза, за которой последовал щелчок захлопнувшейся двери. А я подумал: куда же этот психопат станет жаловаться? Когда в кабинет вернулся Олег, я рассказал ему о соблазнительном предложении посетителя и добавил:

— А вообще-то мысль недурна! Если все равно помирать, так уж лучше с музыкой.

— Ты хорошо держишься, — одобрил мое поведение Олег. — Я бы на твоём месте, пожалуй, психовал. Мне было бы не до шуточек.

— Это потому, что ты молодой. А в мои годы нервничать по поводу смерти?.. Но вообще-то, если честно, я тоже психую. Только где-то там, глубоко... Ты в Афганистане служил доктором?

— Кончил медицинский, как и ты. Но тебе повезло, войны не было. Да... работу на «Скорой помощи» не сравнить с той, что досталась мне. После Афгана мне не страшно ничего и никого не жалко. Во мне нет сострадания, сочувствия, доброты. Не верю ни во что. А

это скверно! Я, если мне надо, не остановлюсь ни перед чем. Слюней и соплей во мне не отыщешь.

— Одна ненависть в душе? — спросил я.

— И ненависти не осталось. Выжженная афганская пустыня, сухая, знойная, мертвая. Пустота. И какая-то задавленная боль... За что это мне?..

— Тебе приходилось убивать?

— Не смеди меня! Убивать!.. Я видел и испытал такое, что тебе и не снилось. Иногда мне кажется, что старик — я, а ты — двадцатипятилетний сопляк. Я глушил совесть алкоголем, бабами, стал наркоманом, меня подбирали черт-те где, в вонючих притонах. Но не очень наказывали — врачей не хватало. Я зашивал обрубки ног и рук нашим ребятам — ты, наверно, слышал, как моджахеды расправлялись с оккупантами. А я это не только видел: те, от кого оставалось одно лишь туловище, валялись на моем операционном столе. Я оперировал и афганских душманов, с которыми наши поступали так же. Мне теперь никогда не избавиться от кошмаров, от человеческого мяса, — оно снится по ночам. И за это никто не ответил... Нас не только послали на бойню, — оставшихся в живых эта война разрушила... Мы — оккупанты, от нас даже Отечество отвернулось... чудовищная страна... Я еду в Израиль по приглашению, на месяц, но я не вернусь в вонючую помойку под названием СССР. Не понимаю, как ты можешь здесь жить. У тебя мать — еврейка, тебе же раз плюнуть организовать вызов, приглашение, командировку. Убегай отсюда! У этой страны нет будущего. Скоро здесь все потонет в крови, неужели ты не понимаешь? Ты видел очереди у посольств? Пойми, это не эмиграция, это — эвакуация!

— Но я уже не успею, — сочувственно сказал я, пытаюсь погасить истерическую вспышку Олега, — За полдня не оформишь документы, не купишь билет, не соберешь вещи...

— К черту вещи! — заорал собеседник. — Когда речь идет о спасении шкуры, вещи бросают. Я почитал всю эту вонь, которую обрушили на тебя армейские дуболомы. Может, тебя завтра пришьет кто-нибудь из этих солдатушек, бравых ребятушек... Слушай, тут среди всей доносительной пакости меня заинтересовало то, что настрочил Л. Л. Николаенко генеральному прокурору. Кстати, как к тебе это попало? Написано твоим почерком.

— Меня вызывал московский военный прокурор. Очень извинялся. Говорил, что раз сигнал не анонимный, то они обязаны ответить. Письмо этой мрази было направлено Генеральному прокурору СССР, тот переадресовал донос Главному военному прокурору с резолюцией «Разобраться», а тот, в свою очередь, уже переправил московскому. И они, согласно прокурорским правилам, должны вникнуть и ответить доносителю. Прокурор очень извинялся, ибо знал дату моего рождения, но задал мне, несколько вопросов. Записывал все, что я говорю. Потом попросил автограф на моем сборнике. Я в ответ попросил дать мне возможность переписать кляuzu. Он разрешил, но предупредил, чтобы я не упоминал, откуда у меня текст. Я обещал. Потом прилежно, в его присутствии, я переписал все слово в слово. Военный прокурор очень извинялся, жал на прощание руку, вышел провожать на улицу. Была ранняя весна, кажется, март, гигантские лужи окружали это заведение, расположенное на задворках Хорошевского шоссе. Я вышел оттуда, как обосранный. И это все в период гласности, перестройки и прочих якобы свобод. А через два-три дня мне домой позвонила заведующая архивом нашего медицинского института и тоже по секрету сообщила, что приходили люди в военном, подымали документы и зачетки нашего курса за сорок пятый год, интересовались моей персоной. Изучали... Видно, хотели найти компромат...

— Ты зачем переписал ябеду этого Николаенко?

— Ну, на всякий случай. Может, думал, как-нибудь сквитаюсь... Потом махнул рукой... Ну-ка, дай-ка мне...

Я погрузился в чтение доноса:

«...Все, что говорил О. Горюнов, следует назвать клеветой на нашу Советскую Армию и ее славный офицерский корпус. Надо разобраться, почему он не был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы?! Считаю, что это еще не поздно сделать! Да и привлечь к партийной ответственности...» Тут я отвлекся и сказал:

— Я потому и не состоял в этой партии, что в ней такое количество подонков! В наши молодые годы бытовала шутка про человека, вступившего в КПСС: «Наконец-то он очистил наши ряды беспартийных».

Я снова впился в текст.

«Все, что пишет Горюнов, — это насмешка над советским общественным строем, — продекламировал я полюбившиеся мне строки, сочиненные Николаенко. — Как и многие его книги — это сплошное критиканство! Кстати, у него нет ни одной книги о положительном в нашей жизни, ни одной патриотической книги, зато грязь раздувается, облачается в красивые одежды...»

Я прервал цитату и сказал:

— Такой отзыв от болвана дороже иной рецензии, где тебя хвалят... Впрочем, на что я трачу свой последний день?.. Боже мой!..

Я швырнул клеветническое письмо на стол. Олег подобрал бумагу.

— Тут адрес есть: Сиреневый бульвар, 46/35, корп. 2, кв. 39,— И Олег вопросительно посмотрел на меня, — Николаенко Л. Л., член КПСС с апреля 1971 года.

Я засмеялся:

— С меня хватит визита к Поплавскому. Знаешь, одесский парикмахер покончил с собой и оставил

записку: «Причина моей смерти в том, что всех не переброешь!»

— Как хочешь! А я его навещу. Проверю, тот ли это ублюдок, который служил у нас в Афгане. Ему парень один, приятель мой, в строю сказал в лицо, что он трус. А тот послал его на верную смерть. Кусочки этого парня принесли ко мне в операционную, я его сшивал восемь часов.

— Ну? — спросил я. — Удалось спасти?

— Парень жив... да так... получеловек... Ты мне дашь машину? А то ехать далеко.

— Хорошо. Только ты меня по дороге подбросишь на кладбище, а вернусь я сам...

— Я донос возьму?

— Как хочешь... Подожди немного, я сделаю несколько звонков.

Однако, никто из тех, кого я намеревался позвать на собственные поминки, не смог принять мое приглашение. Кто был занят, кто болен, у кого спектакль или еще что-нибудь. Разумеется, я не сообщал причины столь скоропалительного сборища. Если бы объяснил, друзья, наверное, отменили бы свои дела, да как-то язык не поворачивался брякнуть эдакое. Все, будто сговорившись, просили перенести встречу на другой день, скажем, в субботу. И обещали с удовольствием прийти. И я всех пригласил на субботу! Какая разница! Тем более, по идее, как раз где-то в субботу состоятся мои похороны. Последний вечер моей жизни у меня оказался свободным...

Я отдал документы на машину Олегу.

— А ты не боишься отдавать мне «Волгу», да еще с документами? — спросил Олег Второй, — Учти, что на черном рынке я за нее могу получить больше ста пятидесяти тысяч!

— Очень боюсь, что ты продешевишь! — отбрил я его.

Пока мы ехали в машине, радио сообщало новости. Они стали грозowymi. На Дальнем Востоке войска стреляли в демонстрантов. Кровь пересекла границы России.

— Ты писать-то собираешься? — спросил я.

— А как же? Это у меня в генах заложено. Пойду по твоим стопам. Только ты три года на «Скорой» работал, а я три года был оккупантом. Так что опыт у нас разный.

— Доктор не оккупант!

— Слабое утешение. Если уж я и буду писать, то что-то вроде Шаламова. Без украшательств. А не будь Афгана, тоже, наверное, стал бы беллетристом. Хочу, как Конрад и Набоков, так знать английский, чтобы можно было писать на нем. Но пока буду пытаться на русском.

— Значит, хочешь отказаться не только от родины, но и от родного языка?

— Сидит во всех вас этот вшивый патриотизм! Пойми, я не хочу быть гражданином проклятой страны. И не желаю писать на провинциальном, выродившемся языке!

— Это ты круто заворачиваешь, — опешил я, — Ну, знаешь, ты даешь...

— Я человек Земли. С большой буквы, понимаешь? Да где тебе... Умом Россию не понять, аршином общим не измерить... — издевательски процитировал он Тютчева.

— Стихи-то сами по себе ни в чем не виноваты. Другое дело, что их использовали, чтобы оправдать чудовищные вещи...

— Давно пора, ядрена мать, умом Россию понимать... Да только уж разбирайтесь во всем этом без меня, а я вашу страну из своей жизни вычеркнул...

— Понять тебя могу... — задумчиво сказал я, — Если бы был помоложе, может, тоже подался бы в дальние страны. А теперь уж поздно...

— А это кто написал? «Пусть в голове мелькает проседь — не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое — зачеркнуть!»

— Мало ли чего я написал...

— А я думал, ты веришь в то, что пишешь...

— Верю.

— Ни хрена. Ты — литературное трепло. А ты еще из лучших. Что же про остальных говорить.

— Слушай, ты бы мог быть повежливей в мой последний день.

— Прости. Я беру свои слова обратно. Это я так, в полемике...

— Да нет уж. Слово — не воробей. Только мы не на равных. Я-то твоей ни одной строчки не читал. Может, ты вообще бездарь, а судишь...

— Может быть, — погрузился Олег. — Я пока знаю, как не надо писать. А вот как надо — чувствую, но не умею... Пробую и рву... Пробую и рву...

Машина остановилась у Даниловского кладбища.

В течение многих лет я приезжал сюда четыре раза в год — в дни рождений отца и матери и в годовщины их смерти. А последнее время, когда здесь появилась третья могила, стал бывать часто. Я купил цветов у бабок, торгующих у входа, и углубился в осенние аллеи. Сначала я пришел к ограде, за которой рядом лежали две мраморные плиты. Отпер замочек, вошел внутрь ограды и наклонился, чтобы взять банки, в которых торчали сухие стебли. Последний раз я был здесь месяца два назад. Я хотел вынуть из банок увядшие цветы и пойти за водой, как вдруг увидел, что на могильной плите матери была начертана фашистская свастика. Сначала я не поверил. Потом наклонился и провел рукой, чтобы стереть. Но свастика была выбита резцом. Я оглянулся вокруг, перевел взгляд на отцовское надгробие. Оно было не тронут. Я оглядел соседние памятники — на некоторых красовался паучий

фашистский знак. Прочитав фамилии, я понял, что так были помечены только еврейские могилы. Про осквернение могил черносотенцами из «Памяти» я уже читал в газетах. Но одно дело, когда речь идет не о тебе, — ты возмущаешься, негодуешь, пишешь статью. Когда же касается тебя, то как передать ту степень бешенства, ярости, неистового отчаяния! Во мне все заколотилось от ненависти! И от бессилия! Я не знал, кто это сделал, и понимал, что милицию подобные проблемы попросту не интересуют, что никто не станет искать сволочей. Мать носила отцовскую фамилию, но имени и отчества — Белла Моисеевна — оказалось для антисемитов достаточным. Мать, работавшая во время войны в санитарном поезде, а после контузии — в тыловом госпитале, была награждена после смерти свастикой. Впрочем, что за идиотское, чисто советское оправдание всплыло в моем мозгу? А те, кто не воевал, те, чьи памятники испоганены только потому, что на них написаны такие фамилии, как Эпштейн, Коган, Рабинович, в чем они виноваты? Я вспомнил определение Олега: «Проклятая страна». Вместо того чтобы посидеть на скамеечке, вспомнить родителей, попрощаться с ними, побыть в грустном покое, я испытал боль, гнев и отвращение к жизни. Боже, как я ненавидел этих подонков! У меня болело сердце от остервенения и обиды. Раздавленный и убитый, я приплелся к могиле Оксаны. Памятника пока еще не было. Только цветы и застекленная фотография. Я хотел, чтобы на этом месте находился камень-метеорит, прилетевший из космоса. Добрые люди помогли мне найти каменного космического посланца. Я летал недавно в Якутск. Там странный камень одели в огромный деревянный ящик, и я отвез его на железнодорожную станцию. Скоро метеорит должен был прибыть в Москву. Надо написать пасынку специальное письмо, чтобы он довел дело до конца. Я

поставил в банки с водой свежие астры и попытался успокоиться. Но куда там! Внутри все дрожало. Постепенно, глядя на фотографию улыбающейся Оксаны, я постарался забыть и стал вспоминать... Но все равно воспоминания получались какие-то рваные, горькие, беспокойные...

Первые дни после похорон Оксаны — а она погибла в результате лобового удара такси с самосвалом, водитель которого заснул за рулем, — я уехал на дачу и заперся ото всех. Это была не та, пришедшая в упадок дача, купленная у пришедшей в упадок вдовы. Тот дом, после того как я его отремонтировал, я оставил своей первой жене и дочери. Впрочем, оставил не только дачу, но и вообще все, что к тому времени нажил. Я стал не просто беден, стал нищ, но зато хорошо себя чувствовал.

Мы с Оксаной начали совместную жизнь с нуля. В это же самое время, когда я решил сделать себе подарок к собственному пятидесятилетию — уйти к Оксане, ее сын как раз задумал жениться. И все имущество, которое было у Оксаны, она отдала сыну. Когда мы после десятилетнего романа (о, я тщательно проверял свое чувство!), наконец соединились, у нас не было ничего. Это не преувеличение. «Ничего» обозначает: ничего. Мой самый старинный друг Вася сказал мне тогда:

— Тебе уже пора снова писать свою первую повесть.

В те десять лет, которые предшествовали разводу и моему уходу к Оксане, у меня полностью атрофировалось чувство дома. Я, например, никогда не покупал то, что можно повесить на стену квартиры, или то, что как-то украсит интерьер. Просто не приходило в голову. Наверное, потому что не знал, где я буду жить завтра и с кем. Десять лет сумасшедшего бега между двумя женщинами, житья на две семьи, на два дома — я даже не знаю, с чем это можно сравнить! Могу

сказать только, что для такого образа жизни требовалось лошадиное здоровье!

Когда я переехал к Оксане, чувство собственного дома ожило сразу же. Его — это чувство — подхлестывало еще, конечно, полное отсутствие всего. Должен поделиться, что начинать жизнь сначала в пятьдесят лет — замечательно, особенно если рядом любимая женщина.

Постепенно появлялось все — и ножи с вилками, и простыни со скатертями, и телевизор с магнитофоном, и даже картинки на стенах.

Я много работал, писал запойно. И хотя не все проходило — некоторые рассказы и повести оседали в столе, — что-то тем не менее прорывалось на страницы журналов, правда, с потерями и купюрами. Видно, я работал более интенсивно, чем цензура, — вообще у меня несколько лет был очень «писучий» период. Кроме того, я преподавал в Литературном институте. А тут еще пригласили вести ежемесячную литературную программу «Волшебство изящной словесности» по телевидению. К тому же я занялся и рифмоплетством — это после пятидесяти-то. Если поговорка «работа дураков любит» справедлива, то я, несомненно, принадлежу к этой породе. Я работал не для того, чтобы зарабатывать, но деньги стали появляться. Кое-что экранизировалось, а две комедии для театра пошли очень широко — одна в ста десяти театрах, а другая в ста тридцати четырех. Поскольку я считался писателем не совсем советским, что мне неустанно давали почувствовать доброхоты из Союза писателей, меня усиленно издавали на Западе. Опала здесь была лучшей рекомендацией там.

«Кирпичи», которые лудили литературные генералы, воспевающие прелести социализма, почему-то не котировались за рубежом. Это бесило секретарей, они в очередной раз напускали на меня преданных

опричников от критики. И очередной погром моей книги дома вызывал у заграничных издателей очередной взрыв интереса...

Итак, после похорон я заперся на даче, не отвечал на телефонные звонки, не открывал калитку на звонки с улицы. А потом вообще оборвал провод. Несколько дней спрессовались, и сейчас кажется, что это был какой-то один страшный, сумбурный час. Я плохо помню, что делал, как жил, когда спал, а когда не спал, ел или не ел, выходил в лес или, одетый, валялся в кровати. Невнятные обрывки воспоминаний в тумане забвения. Я никого не хотел видеть, даже самых близких друзей, меня отталкивали участливые лица, сочувствующие взгляды, утешительные слова. Боялся, что начну при всех рыдать, а здесь меня никто не видел — невымытого, небритого, заросшего, зареванного, полуодетого, полупьяного, похожего на дикого, раненого зверя. Гибель Оксаны — это был крах, крушение всего, конец жизни. То, что мне предстояло дальше, можно назвать доживанием, ожиданием смерти.

Когда я вышел из состояния шока и рискнул вернуться к людям, я ощущал себя, будто был стеклянным, очень хрупким. Я был насторожен и готов в любую секунду снова спрятаться в логово. Контакт со мной не получался, я обрывал выражения соболезнования, потому что был покрыт еще слишком непрочной, очень тонкой коркой самообороны, за которой копошилось горькое горе. Посторонние, вероятно, считали меня сухарем, но мне на это было наплевать. Я старался жить не в городе, а на даче, пытался писать, но не получалось. Я вспоминал, как мы с Оксаной мечтали о собственном доме, в котором можно будет отгородиться от огромного количества городских никчемностей, бессмысленно отнимающих и пожирающих время. В последние годы никто не хотел ничего продавать, люди не верили в ценность советских

денег, но нам повезло — счастливый случай, мы купили дом недалеко от Москвы, со всеми удобствами, да еще на границе с лесом. Задняя калитка выходила в настоящий дикий лес, который тянулся вперемежку с полями на много километров. Когда мы услышали, сколько запросила хозяйка за дом, мы пошатнулись, закачались и обалдели. Сначала мы отказались от покупки, понимая, что не потянем. Но потом вовремя одумались. Мы залезли в долги, продали видеокамеру и последние драгоценности Оксаны, которые ей достались от матери, умершей за год до этого. В общем, поднатужились и купили дом. Мы принялись приводить в порядок наше новое, но очень запущенное жилище. Дом раньше принадлежал хорошему композитору, но его наследники довели прошлые хоромы до состояния горьковской ночлежки: здесь до нас жили какие-то приживалки, жильцы с собаками, старухи с кошками, бесконечная череда гостей, дачников, друзей и, по моему, людей, с которыми хозяева не были знакомы. Достаточно сказать, что в момент покупки в пяти комнатах насчитывалось семнадцать спальных мест, по три-четыре в каждой комнате. Оксана вышла на пенсию. Она проработала последние двадцать лет в Гослитиздате, где, кстати, меня никогда не издавали. Из живых там публиковали только правительственных писателей. Я не мог отложить работу, ибо надо было возвращать долги и зарабатывать на кровосос-ремонт. В это время стали хорошо платить за выступления, за так называемые творческие вечера, и я оказался персоной, с которой публика почему-то хотела встречаться. Я регулярно выезжал в разные города на два-три дня, и деньги, которые я привозил, тут же переходили из моих рук в руки маляров, сантехников и плотников. А тем временем два хищника — инфляция и дефицит — опустошали страну. Наступило время, когда долги стало иметь лучше, чем деньги. Я со смущением

возвращал друзьям одолженные суммы. Со смущением и чувством стыда, так как полгода назад, когда я занимал деньги, они стоили значительно больше, чем сейчас, когда я их возвращал. Как мы с Оксаной радовались, когда удавалось раздобыть красивый кафель или симпатичные обои. Западный человек лишен таких радостей. Если ему что-то надо, он идет и покупает. Это так просто и так неинтересно. У нас другое дело. Набегаешься, намучаешься, наунижаешься вконец, прежде чем достанешь то, что нужно. Зато потом испытываешь победное чувство, вовсе не доступное несчастным жителям западной цивилизации...

Немногим более года удалось Оксане пожить в уютном доме, в уютном потому, что у нее было врожденное чувство делать жилье теплым, человеческим, удобным. А нынче я слонялся как потерянный по двум этажам пустынного дома, из которого ушла душа... Она и из меня ушла...

Я возвращался с кладбища, но воспоминания по-прежнему цепко держали меня. Я вышел за ворота и направился к стоянке такси. Машин, конечно, не было, и я вдруг поймал себя на мысли, что уже много месяцев не видел такой картины: пять-шесть автомобилей-такси с горящими зелеными огоньками дежурят на стоянке в ожидании пассажиров. Раньше в дневные часы подобное можно было увидеть весьма часто. Сейчас я осознал, что эта картинка из прошлого, как бы из мирной жизни. Я стоял и ждал, что, может, подвернется какой-нибудь левак — или частник, или подхалтуривающий государственный водитель. И снова моя память понесла меня в недавнее прошлое...

Постепенно я как-то наладил свою холостяцкую жизнь. Помогала Тереза. Я пытался писать, но ничего путного из-под пера (я сочиняю вручную, а не на машинке) не выходило. Какие-то мертвые, корявые

фразы, деревянные сочетания слов, лишённые одухотворённости, в общем, получалось что-то ублюдочное, неуклюжее. Недописав, я отбрасывал то одно, то другое. Вдруг я впервые осознал на собственном примере, что означает слово «бесплодие». Никто ещё не знал, что я, как писатель, умер. А я это открытие, естественно, не рекламировал. Я принимал участие в литературной и политической жизни, больше в политической... Выступал, печатал хлесткую публицистику (на это ещё хватало!), подписывал всякие радикальные обращения, ибо ненавидел систему, в которой рос и с которой боролся в первую очередь в самом себе. Среди военных, партийцев и ребят с Лубянки нашёл немало врагов. Но это меня радовало, хоть как-то горячило подостывшую кровь...

Недостатка в женском внимании я не испытывал никогда, а после смерти жены — особенно.

Ещё бы, по нашим понятиям, богатый: дача, квартира, машина, деньги (но тут имелось заблуждение!), известный, можно сказать, популярный, да к тому же холостой. Конечно, не молоденький, но ведь это, если вдуматься, тоже было скорее достоинством. Редакторши издательств и журналов, корреспондентки, телевизионные дамочки, артистки, барышни из писательского и киношного союзов смотрели на меня особым взглядом, не то чтобы откровенным, но во всяком случае обещающим. Я этот взгляд угадывал сразу же.

На встречах с читателями я сплошь и рядом получал записки такого рода: «Если вам требуется молодая помощница или секретарша, позвоните по телефону...»

Эти записки я сразу рвал. Не потому, чтобы соблазна не было, — я опасался женской назойливости. Вообще мне свойственна определенная боязливость в отношениях с женским полом. Я, например, никогда не имел дела с проституткой, не был в публичном доме, не

участвовал в коллективных сексуальных сборищах. Мне мешало какое-то врожденное чувство чистоплотности, а кроме того, я не сомневался, что у меня от испуга ничего не получится. Я с детства знал, что женщины надо добиваться, хотя и знал также, что эта точка зрения крайне архаична. Поэтому, когда я видел, что некое женское существо проявляет инициативу и настырно лезет в койку, я постыдно удирал.

И тем не менее, как говорится, жизнь есть жизнь. Через несколько месяцев после того, как не стало Оксаны, у меня случились две встречи... Мое внимание привлекла симпатичная докторша из нашей литфондовской поликлиники, но это оказалось неинтересно. Может, виноват был я, не знаю, но я больше ей не звонил. А второй раз, где-то через месяц после врачихи, я попытался переспать с одной иностранкой. Но тут и вовсе вышел конфуз. Интересная молодая славистка из Швеции — жена какого-то миллионера-фабриканта — положила на меня глаз. Она была избалована и невероятно богата — дом в Стокгольме, квартира в Париже, вилла под Сорренто, мастерская в Нью-Йорке. Она могла ни черта не делать, но была трудолюбива, энергична и предприимчива. К нам в страну она приезжала часто. Появились ее книги о взаимоотношениях Пастернака и Цветаевой, Ахматовой и Мандельштама, серия интервью в модных журналах со звездами перестройки (в том числе и со мной), документальное исследование об убийстве семьи Романовых, обзор кинокартин в эпоху гласности.

Ингрид была стремительна, весела, шумна, громко ржала и, по-моему, успела перетрахаться с немалым количеством левых русских деятелей культуры. Очевидно, наступила и моя очередь... А я попросту дискредитировал Отечество. Нет, конечно, в те минуты, когда я беспомощно потел, пытаюсь выполнить то, что обычно у меня получалось само собой, я не думал о

престиже нашей страны. Стыд, отвращение к себе, боязнь, что такое теперь будет всегда, парализовали меня. И как ни билась многоопытная шведка, она так и не смогла добиться ничего путного. Может, меня заклинило оттого, что она иностранка? — пытался я оправдать себя потом. Но думаю все-таки, что сробел я от ее наступательной активности и нетерпения... Поскольку Ингрид была хороша собой и молода по моим нынешним меркам — ей было около сорока, — то оправдания мне не было никакого. И страх, что так может повториться, затаился где-то в глубине.

Однако цыганка — а я теперь верил тому, что она нагадала, — напороочила мне встречу с молодой прекрасной женщиной. Кого же она имела в виду? Я стал перебирать в памяти разных знакомых женщин, на которых хоть как-то, хоть когда-то фокусировалось мое внимание. Но никто из них не вызывал намерения перейти к активным действиям, особенно в моей ситуации. И я решил не утруждать себя. Его Величество Случай организует встречу, раз уж так предписано судьбой. В тот момент, когда я окончательно решил стать фаталистом, перед моими глазами возникло женское лицо. Лицо кассирши из нашей районной сберкассы. Ее звали Люда. Я даже хотел написать о ней и наших отношениях небольшой рассказ в бунинском роде, но не стал этого делать потому, что лучше Ивана Алексеевича написать бы не смог, а хуже — зачем? Каждый месяц я два, а то и три раза бывал в сберкассе. То клал какие-то деньги, то, наоборот, брал, то платил за квартиру, то штраф за автомобильное нарушение, то еще что-нибудь. Я знал всех сотрудниц по имени-отчеству, дарил им свои книги, и они тоже знали меня, и, если я напарывался на большую очередь, барышни норовили пропустить мою персону побыстрее. Года три назад в сберкассе появилась новая кассирша — Люда. Описывать женщину дело не то, что трудное, а

бесплезное. В мировой литературе создано столько прекрасных женских портретов, куда уж мне. Но все равно надо дать о ней хоть какое-нибудь представление. Люда выглядела лет на тридцать. В лице ее было что-то беспомощно-детское. Голову она всегда держала чуть наклонив, а когда смотрела на тебя, то в ее глазах, не хочется писать «огромных», но они такими и были, казалось, прятались то ли горе, то ли боль, то ли какая-то грустная, щемящая тайна. Даже когда она улыбалась, выражение страдания не исчезало с лица. При первом же знакомстве, когда она мне вручала пачку купюр, чувство безотчетной жалости захлестнуло меня, возникло желание сделать для нее что-то хорошее, чем-то помочь, как-то защитить, хотя я не знал о ней ровным счетом ничего.

Несколько раз в месяц я общался с ней через окошечко кассы, и с каждой встречей она привлекала к себе все больше и больше. Я чувствовал, что и я ей нравился. Между нашими взглядами и улыбками пробегало что-то большее и значительное, нежели наши слова. В ней не было ничего ломаного, деланного, искусственного, ненатурального. Я не знаю, можно ли назвать ее красивой, скорее, она была миловидна. Я видел, что всякий раз она радовалась моему приходу, и с ее лица, когда она разговаривала со мной, исчезало то затаенное чувство горечи, которое так меня поразило с самого начала. Мы говорили обо всяких пустяках, но я стал замечать в себе какое-то смущение, стал ловить себя на том, что иногда вспоминаю о ней перед сном и каждый раз со смутной нежностью. Я никогда не изменял Оксане, это могло случиться только, если бы я полюбил другую женщину. Нет, конечно, я не думал о Люде. Жизнь, работа, книги, Оксана, бесчисленное количество дел, всяческая суэта несли меня по течению, или, можно сказать, я сам мчался против течения с бешеной скоростью среди людей, дел,

поступков, ситуаций. Нет, конечно, я не вспоминал о Люде. Разве что изредка ее наклоненное лицо, печальные глаза и приветливая улыбка возникали на миг в моем сознании и исчезали, заслоненные нескончаемым потоком разных разностей. Как-то, когда я брал полновесную сумму на ремонт дачи, у нее в кассе не хватило наличных денег, и она ушла в заднюю комнату, где, наверное, находился сейф. И тут я понял, что видел ее до сих пор только по пояс. Я впервые рассмотрел ее фигуру, так и хочется написать стройную, ибо так и было, но это же литературный штамп. В словаре синонимов я нашел другие слова, которые тоже подходили к ее фигуре: статная, складная, хорошо сложенная. Когда она вернулась, я на нее посмотрел чуть-чуть по-иному. К моему восприятию Люды добавилось нечто новое, и она почувствовала эту перемену сразу. Уже прошло несколько месяцев нашего знакомства. За это время я дарил ей свои книги, впрочем, так же, как и другим женщинам из сбербанка — так теперь назывались сберкассы. Я пригласил ее на свой творческий вечер в Останкино, и операторы разглядели ее и оценили — сняли крупно...

Однажды я брал деньги перед самым закрытием сберкассы.

— Хотите, я вас подожду и отвезу домой? — спросил я тихо, чтобы не слышала контролерша, сидевшая в двух шагах.

— Спасибо, — с улыбкой поблагодарила Люда.

Я сидел в машине и ждал ее. Честно говоря, я не знал, что делать дальше. У меня не было никаких серьезных намерений по отношению к Люде, а несерьезно вести себя с ней не хотелось. Она как-то не подходила для этого. В ней угадывались и чистота, и глубина чувств, и детская доверчивость. Да и сам я вышел из возраста легких походов. Об Оксане,

которая ждала меня дома, я уж и не говорю. Люда села ко мне в машину.

— Куда? — спросил я, — Где вы живете?

Она назвала адрес. Я вел автомобиль и искоса поглядывал на нее. Одета она была во что-то очень обычное, недорогое и скромное. И это ей тоже шло. Нет, конечно, я был в нее немножечко влюблен, или она мне нравилась, или меня тянуло к ней — выбирайте любой вариант. Я расспрашивал ее. Она обо мне все-таки кое-что знала, а я о ней ничего. Жила Люда с мамой в однокомнатной квартире, отец умер, когда Люда была маленькой. Мама — сердечница, регулярно лежит в больнице. На пенсии. Раньше мама работала в Третьяковке, служительницей в картинном зале. Люда окончила финансовый техникум. Много читает, это ее увлечение. О личной жизни сказала немного. Сказала только, что ее настойчиво атакует продавец из мебельного магазина, хочет жениться. Но ей он не нравится. Почему? Просто так, не нравится. Продавец богатый, у него машина и отдельная квартира. Он разведен и все время приглашает Люду в театры и рестораны. Иногда она ходит с ним, и он рассказывает о том, сколько он зарабатывает, стараясь подействовать на Люду. А ей все равно. Она каждый день столько чужих денег пропускает через свои руки, что полностью к ним равнодушна.

Мы давно уже стояли около ее дома. Я чувствовал, что если я скажу ей сейчас: «Поехали!», — то она после небольшой паузы ответит: «Поехали!»

Я думаю, она ждала, хотела, чтобы я сказал это, но ничем не показывала. И тут я, чувствуя себя одновременно и ничтожеством, и страшно благородным человеком, поцеловал ей руку и промямлил, что мне пора ехать. Она ничем не выразила своего огорчения, разве глаза ее чуть погасли. Я спросил номер ее домашнего телефона, но оказалось, что у них с мамой

телефона нет, они вот уже пять лет стоят на очереди. Она вышла из машины и перед тем, как открыть парадную дверь, оглянулась. Она посмотрела на меня и вдруг послала воздушный поцелуй. И тут же исчезла. Я несколько минут не трогался с места, думая о себе весьма нелестно, а потом включил стартер и поехал домой. Уже через несколько минут я забыл о Люде, поглощенный повседневными мыслями... И еще как-то раз я подвозил ее. Мама находилась в больнице, и в квартире никого не было. Все дальнейшее зависело только от меня. Думаю, она действительно была влюблена. Наверное, к этому примешивалась и моя известность, а может, для нее роман со мной стал бы каким-то выстрелом из обыденности или еще было что-то — кто ее разберет, загадочную женскую душу. Она ждала, как я поступлю. Я бормотал слова, которые мне стыдно вспоминать. По жалким обрывкам моих фраз она могла уразуметь, что она прекрасна, что очень мне нравится, что я был бы счастлив подняться к ней, но что она должна меня простить, ибо я должен немедленно ехать. Причину, по которой я должен был тут же испариться, я, конечно, наврал, не мог же я сказать ей, что уезжаю из-за того, что женат. Честно признаюсь, мне очень хотелось подняться к ней, но я удержался... На этот раз она ушла, повесив голову, не оглядываясь. Ушла так, как уходят совсем.

А еще через две недели меня снова занесло в сберкассу, простите, в сбербанк. На месте Люды сидела толстая незнакомая женщина лет пятидесяти. Небрежным тоном я поинтересовался, где Люда — в отпуске или больна? А в ответ услышал, что она вышла замуж и уволилась. И тут у меня защемило сердце. Вспомнил ее глаза, подернутые тоской, и подумал, что мне было по силам согнать это выражение, но я испугался и не сделал этого. Неуютное ощущение потери чего-то прекрасного, чувство, что я сам

проворонил, упустил такую женщину, охватило меня. Я уехал в дурном настроении, но, подумав, что напишу о Люде рассказ, довольно быстро этим утешился. Потом я отказался и от намерения написать рассказ. И тем не менее иногда лицо Люды как бы наплывало из глубины, на мгновение перекрывая реальность, и снова растворялось в небытии. Поразительно было то, что после гибели Оксаны я вспомнил о ней сегодня впервые. Все это нахлынуло на меня, когда я на «леваке» возвращался с кладбища. Частник узнал меня и был преисполнен почтительности. Я попросил его остановиться на минуту у телефона-автомата. Мне повезло: у аппарата не была срезана трубка. Я набрал номер сбербанка и попросил позвать заведующую.

— Анна Васильевна, это Горюнов. Как самочувствие? У меня? Живу, как и все, то есть в бардаке и ужасе... Анна Васильевна, помните, у вас работала кассирша Люда?.. Такая симпатичная... Потом замуж вышла и уволилась... — Я старался говорить беспечно и небрежно, — Вы не подскажете, как ее найти? Да? Спасибо огромное. Пока. Передавайте всем привет...

Я повесил трубку. Здесь мне тоже повезло. Оказывается, Люда после замужества перешла работать в другую сберкасса — на улице Медведева, ближе к ее новому дому. Я вернулся в машину и попросил частника подвезти на улицу Медведева. Мне очень хотелось, чтобы повезло и в третий раз, чтобы я застал Люду на рабочем месте.

У сбербанка я еще раз попросил водителя подождать меня несколько минут. Тот согласился. Я сказал, что «за мной не заржавеет», но хозяин автомобиля ответил, что, мол, я его обижаю...

Я вошел внутрь и сразу увидел ее. Она сидела в окошечке кассы и, как всегда, пересчитывала чужие деньги. Стояла очередь — человек пять или шесть. Я смотрел на нее издали. Она не изменилась, была так же

тиха и незащищена. Голова ее, как всегда, чуть склонилась набок, а огромные глаза, когда она их поднимала, вручая посетителю купюры или получая их, казалось, прятали какое-то горе. Я любовался ею, и меня охватило волнение при мысли, что сейчас произойдет что-то очень значительное и важное. Сердце вдруг начало барабанить так, как бывало сорок лет назад. Она меня не замечала и работала. Движения ее рук были изящны и безупречны. Я немного подумал, как же поступить, и в конце концов встал в очередь к ее окошечку. И тут она неожиданно увидела меня. Я улыбнулся ей и поздоровался наклоном головы. Она покраснела и тоже улыбнулась. Некоторое время мы не сводили друг с друга глаз, а потом она снова принялась за работу. Но теперь, под моим взглядом, она делала все свои операции напряженно, часто сбивалась и начинала пересчитывать деньги снова. Сзади меня встали еще два человека, и я понял, что поговорить наедине не удастся. Время, с одной стороны, еле тащилось, а с другой — неслось какими-то скачками. Наконец подошла моя очередь.

— Здравствуйте, Олег Владимирович. Рада вам. Вы теперь будете держать деньги у нас?

— Я хочу вас видеть, — еле слышно выдохнул я. Звука голоса практически не было, но по артикуляции губ она поняла.

Она смешалась и не знала, что сказать. Слишком много посторонних было вокруг. Пауза становилась необъяснимой. Тогда я нашел выход из положения:

— Вы не продадите три билета денежно-вещевой лотереи?

— Конечно, — сказала она с робкой улыбкой и протянула мне веером с десятков облигаций.

— Дайте мне своей рукой, я верю: она у вас счастливая, — сказал я дежурно-любезную фразу.

Я просунул в окошечко деньги, а она передала мне билеты. Я постарался коснуться ее руки своей.

— Спасибо, Олег Владимирович. Заходите.

— Это вам спасибо, Люда. Но я еще не уйду.

Я отошел в сторонку и на прилавке стал писать ей записку, прямо на лотерейном билете.

«Люда, милая! Я завтра утром улетаю. Может, навсегда. Прошу Вас провести со мной сегодняшней вечер. Я этого очень хочу! Если Вы согласны, просто кивните мне. Я буду ждать Вас здесь у входа в машине в 8 часов. Прошу Вас. Очень прошу».

Я с трудом разместил этот текст на обеих сторонах лотерейного билета.

— Извините, — сказал я молодому человеку, ожидающему денег, и протиснул записку в щель под стекло.

Люда взяла ее, отдала деньги и сберкнижку клиенту, а потом стала читать мое послание. Лицо ее опять вспыхнуло, она подняла глаза и взглянула на меня. И вдруг боль, которая, казалось, навечно поселилась в ее зрачках, куда-то испарилась, и она утвердительно кивнула мне.

Я приложил руку к губам, что могло означать и воздушный поцелуй, и обещание молчать, и жест, означающий «до встречи». Перед выходом я еще раз посмотрел на нее, и она еще раз кивком подтвердила свое согласие.

Хочется легкого, светлого, нежного,
раннего, хрупкого и пустопорожного, и
безрассудного, и безмятежного, напроць
забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомытую,
в небо уставить глаза завидующие,
и окунуться в цветочные запахи,

и без конца обожать все живущее.

Хочется видеть изгиб и течение
синей реки среди курчавых кустарников,
впитывать кожу солнца свечение,
в воду бросаться с мостков без купальников.

Хочется милой наивной мелодии,
воздух глотать, словно ягоды спелые,
чтоб сумасбродно душа колобродила
и чтобы сердце несло, ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,
хоть на мгновение упасть в это дальше...
Только за все, что промчалось, заплачено,
и остается расплата прощальная.

Глава четвертая

Время было муторное, скользкое, невнятное. Старая власть выпустила вожжи, построжки ослабели. Притаилась, затихла Лубянка — там то ли уничтожали архивы, то ли укрепляли оборонные сооружения на случай народного штурма. Может быть, делали и то, и другое. По окраинам валили монументы Ильича, но на железного Феликса покушаться боялись. Только поляки подняли руку на рыцаря чрезвычайки и снесли к чертовой бабушке монумент своего соотечественника. Новая власть никак не могла ухватить бразды правления в свои неопытные руки. Партия, накопившая за семьдесят лет неслыханные богатства, по-прежнему была самой сильной организацией. Где деньги, там и власть. Страна разваливалась. Эпидемия провозглашения суверенитетов заразила все республики — от больших до малых. Глобальная говорильня захлестнула страну. Болтуны всех цветов и мастей рассуждали о том, как спасти страну, а на окраинах стреляли, лилась кровь. Сотни тысяч беженцев перемещались по стране, оставляя разгромленные жилища и трупы родных. И это в мирное время. А тем временем изо всех щелей повылезали полчища проныр, пролаз и прохиндеев. Заелозили, забегали ловкачи, стараясь не упустить момент. Пришло время циников, блядей, аферистов. Ежедневно открывались, а на следующий день рушились невероятные, фантастические совместные предприятия. Зарубежная шушера объединялась с отечественной. Вчерашние эмигранты становились боссами, эфемерными калифами на час. Главное было — нахапать скорей, пока муть и неразбериха. Надувательства, обманы, мошенничества обрушились

на не готовый ко всему этому доверчивый народ. Нация раскололась на тех, кто стриг, и на тех, кого стригли. Идеалисты, люди идеи и веры, гибли, не в силах приспособиться. Господи! Почему в нашей несчастной стране все, даже хорошее, приобретает карикатурные формы? И свобода, которая наконец-то пришла, какая-то у нас уродливая! И частная инициатива, которая наконец-то вроде бы разрешена, непременно замешана на жульничестве и предательстве. И демократия, которую наконец-то провозгласили, щедро полита кровью.

Я чувствовал себя в этом времени зыбко и неудобно, хотя употребил немало сил, чтобы приблизить его приход. Меня, как некоторых, время не отодвинуло в сторону, не выбросило на помойку, но все равно я ощущал под ногами какую-то неверную, колеблющуюся поверхность. Некоторые из моих приятелей делали головокружительные карьеры. Писатели, актеры, режиссеры, журналисты бросали свои профессии и окунались с головой в политику. Они становились депутатами, мэрами, советниками, министрами. Я тоже этому поддался и чуть было не стал депутатом. Но вовремя одумался и дал задний ход. Другие мои дружки быстро сориентировались и начали всю сочинять нечто совместное с иностранью, в предвкушении валютных гонораров, и посему не вылезали из-за границы. «Сейчас только ленивый не ездит в Америку», — сказал мне один предприимчивый деятель от культуры. Иной раз я завидовал таким энергичным, жалел, что мне не сорок и что я лишен коммерческой жилки. А иногда философски смотрел на суету вокруг себя.

Жизнь уходит вдаль и вбок,
покидает твой порог.
И не надо догонять,

если вам не тридцать пять.
Пусть бегут, кто помоложе...
Но они устанут тоже —
годы быстро просвистят,
станет им за шестьдесят,
и от них — и вдаль, и вбок —
жизнь поскачет со всех ног...

Конечно, я был выбит из колеи, в душе господствовали сумятица и хаос. Я ощущал себя обломком прошлого, как говорят в кино, «уходящей натурой», а главное, я был бесплоден.

Я жил по инерции, стараясь не поддаваться. Каждое утро я через силу заставлял себя делать пятнадцатиминутную зарядку, брился, чистил башмаки, пришивал оторванные пуговицы. Но если бы кто знал, какого напряжения мне это стоило! Частенько, по привычке, я садился за письменный стол и мытарил изношенные мозги в надежде придумать сюжет. Ибо мне для того, чтобы начать писать, надо найти, сочинить, изобрести фабулу, сюжетный ход, историю, анекдот. Я делю сюжеты на накатывающиеся и на тормозящиеся. Те, что накатываются, пишутся легко, вольно, приятно.

Фантазия буйствует, и рука еле поспевает за ней. А если сюжет не накатывается, то есть одно не подталкивает другое, то я редко довожу дело до конца. Не хватает терпения. От переделок, исправлений, от недовольства написанным я так устаю, что начинаю ненавидеть собственное сочинение и испытываю к нему отвращение и брезгливость...

Я позвонил Володе, сыну Оксаны от первого брака. Первый муж Оксаны, театральный режиссер, которого считали очень одаренным, умер молодым от неизлечимой болезни. Я познакомился с Оксаной года

через три после смерти мужа. У нее еще тогда были очень мощные, совсем не женские бицепсы рук оттого, что она несколько лет ухаживала за неподвижным, лежащим больным, которого приходилось регулярно приподымать, переворачивать, когда требовалось переодеть, или сменить белье, или сделать укол. Я на всякий случай поведал Володе все, что связано с метеоритом, где его надо получить, как водрузить на могилу, что написать на камне. Сказал, что время беспокойное, мало ли что может случиться, а я хочу быть уверенным, что дело будет доведено до конца. Володя был хорошим, надежным парнем, он обожал мать и тоже очень тяжело переживал ее смерть. Он работал актером в незначительном театре, жил трудно, а по нынешним временам просто бедно. Я иногда помогал ему, стараясь не задеть его мужского самолюбия...

Я сидел дома и поджидал Олега. Уже было семь вечера. Через полчаса мне понадобится машина, чтобы ехать за Людой. Я беспокоился, не ввязался ли он в какую-нибудь дурацкую катавасию с доносчиком. Наконец входная дверь отворилась, и младший Горюнов появился в квартире.

— Что так долго?

— Табачный бунт. Курильщики, человек триста, наверное, перегородили улицу. Всюду пробки. Пришлось добираться в объезд.

— Давай ключи. Я опаздываю.

— А что у меня было, не интересуешься?

— Интересуюсь. Только времени нет. Давай коротко.

— Ну, это был не тот, о котором я думал, но тоже дерьмо. Я заставил его по кусочкам сожрать собственный донос.

— И он сделал это? — Я надевал плащ.

— Не добровольно, конечно. Но после некоторых мер, предпринятых мною, жевал и глотал бумагу добросовестно. Потом я заставил его выпить

слабительное. Причем много. Очень много. А после вывел на лестницу и — мне друг привез из Америки сувенир, наручники, — и приковал офицера Советской Армии к дверной ручке лифта его собственного подъезда. И ушел. Он вслед мне орал, что этого так не оставит, что ты пожалеешь... Угрожал, матерился...

— Ты, смотрю, тоже выдумщик!

— Одна кровь! — улыбнулся мститель, — Я еще не успел удалиться, как слабительное начало оказывать действие...

— Проводи меня, — попросил я, и мы стали быстро спускаться вниз.

— Слушай, у тебя в Москве есть где жить?

— А что такое? А-а, понял... Едешь за женщиной... У тебя роман начинается... Правильно?

— Если ты читаешь мои мысли, то должен понять: твое присутствие здесь, мягко говоря, вовсе не обязательно!..

— Ах ты, старый селадон. Но, послушай, в квартире три комнаты...

— Нет, ты все равно будешь мне мешать!.. Так что валяй отсюда.

— Ладно, не сердись! Я сейчас что-нибудь перекушу, ты не возражаешь?

— О чем ты говоришь? Не совестно? — обиделся я.

— Черт тебя знает... Шучу, шучу... Поем и исчезну до утра...

— Есть где переночевать?

— За меня не беспокойся, у меня много друзей... Найдется место...

— А утром приходи. Вместе позавтракаем>, и я отвезу тебя на аэродром. Если еще буду жив...

— Слушай, а может, тебе с этой... бабой уехать сейчас из Москвы? На дачу... или куда-то...

— Если это судьба, так она все равно настигнет... Не важно где...

— Верно. Если только это судьба... Что ж, желаю успеха...

Я сел в машину и рванул с места. Без десяти восемь я подъехал к сбербанку на улице Медведева. Поставил машину на другой стороне. В освещенные окна я видел, что внутри оставались всего два клиента — мужчина в куртке и женщина в плаще. Вот они один за другим вышли на улицу. Часть света в операционном зале погасла. Одна из сотрудниц сбербанка выскочила на осеннюю улицу, раскрыла зонт и заспешила к Тверской. В темноте я не разобрал ее лица. Потом в зале остался гореть только дежурный свет, и две фигуры скрылись за задней дверью. Над входом зажглась лампочка, означающая, что сбербанк взят на охрану. А через несколько секунд в проеме ворот, соединяющих двор с улицей, показались два женских силуэта. Они постояли рядом некоторое время, а потом разошлись. Одна из женщин направилась через дорогу к машине. В этот момент я с бьющимся сердцем распахнул дверцу и ступил на мостовую. Я подбежал к Люде, взял ее за руку, втянул на тротуар и обнял. Моя щека прижималась к ее щеке. Я гладил ее волосы и бормотал что-то нежное, невнятное, хорошее. Было темно. Никто не видел моего лица, не знал, сколько мне лет, да я, пожалуй, и не думал о таких пустяках. Я целовал ее шею, волосы, лицо, ладошки. Она молча принимала мой порыв, а потом ее губы встретились с моими... Наверное, это продолжалось очень долго. А потом — второй поцелуй... и третий... Какие-то взбудораженные мурашки носились по спине и поясице. Ее руки гладили мое лицо, на котором годы пробуравили немало морщин, теребили волосы, вернее, их жалкие остатки. Она прижималась ко мне и тоже шептала что-то любовное, ласковое, неразборчивое. А потом я открыл дверь и усадил ее в машину.

— Поехали? — хрипло спросил я с опозданием на два года.

— Поехали, — ответила она, не спросив меня ни о чем.

Мы ехали молча. Начать разговор было нелегко. Я боялся неверной ноты, опасался неловким вопросом спугнуть ее. Если вдуматься, я ее совсем не знал, но почему-то был уверен, что она замечательная. Я верил своему ощущению. Как, оказывается, непросто вступить в разговор, если женщина тебе нравится. Я уж, честно говоря, и подзабыл, как это делается. Последняя женщина, от которой у меня кружилась голова, была Оксана, и происходило это более двадцати лет назад. Смешно, но не хватало опыта и уверенности. Следя за дорогой, я время от времени поглядывал на Люду. Она смотрела вперед и тоже молчала. Меня подмывало спросить ее о муже: она ведь так легко и сразу приняла мое приглашение. Но я понимал, что это будет не самое удачное начало беседы. Объяснять, почему я вдруг очухался и пригласил ее именно сегодня, тоже было не с руки. О том, что наша с ней встреча была мне предсказана цыганкой, лучше помолчать. И потом я не знал, как к ней обращаться: на «ты» или на «вы»?

Извечное мужское желание показать себя перед женщиной во всем блеске ума и обаяния, как выяснилось, сидело во мне крепко, несмотря на изрядный возраст.

Наше молчание затягивалось. От этого мое смущение увеличивалось. Я существовал сейчас как бы в двух пластах. Несмотря на мое беспокойство, я бы даже сказал, внутреннюю суетливость, в кабине машины висело какое-то электричество, которое излучали мы оба. Взаимная душевная тяга друг к другу поглощала, подминала под себя и малое наше знакомство, и щекотливость ситуации, и кажущуюся беспричинность встречи.

И вдруг, внезапно, пришло какое-то освобождение, ибо мы, по сути, объяснялись на ином языке, более высоком, нежели разговорный. Я посмотрел на Люду и убедился, что она испытывает то же самое. Не могу растолковать, почему я это понял. Я улыбнулся ей, она улыбнулась в ответ.

— Если бы ты знала, как я рад.

— Я это чувствую. И я рада.

— Я хочу делать глупости.

— Я тоже, — сказала она. — Первую глупость я уже сделала: прибежала к тебе по первому знаку.

— Будем глупить дальше? — с улыбкой идиота спросил я.

— Еще как! — подхватила она. — Я очень устала жить по-умному.

— И я столько лет не валял дурака, — признался я.

Незначительные слова, идущие как бы по обочине, только подтвердили тот душевный поток, в котором плыли мы оба. Напряжение исчезло совсем, я забыл о разнице в годах, появилось ощущение равенства, которого у меня, признаюсь, не было. Страх, оставшийся от неудачи со шведкой, комплекс возраста — все это улетучилось. В душе царили естественность и свобода.

Мы въехали во двор. С трудом я втиснул «Волгу» в узкое пространство между двумя машинами, потом вышел, открыл дверь со стороны, где сидела Люда, и подал ей руку. Она оперлась на мою ладонь, но, выбираясь из машины, случайно уронила свою сумочку. Я нагнулся, чтобы поднять ее. В это время раздался резкий щелчок выстрела, и от стены сзади меня отлетел кусок штукатурки. Если бы Люда не уронила сумку, меня бы уже не было. Я выпрямился и увидел, как легковой автомобиль, какая-то иномарка, с погашенными фарами, без света задних фонарей и,

кажется, без номера выскользнул в арку на Тверскую улицу. Стреляли, вероятно, из автомобиля.

— Что это? — спросила Люда, — Стреляли?

Я вытирал ее сумку, которая упала на мокрый асфальт, носовым платком и медлил с ответом.

— Если и стреляли, то мимо, — улыбнулся я.

Хорошо, что было темно, а то она наверняка заметила бы мою бледность и испуг в глазах. Я огляделся. Во дворе было тихо и пустынно. Да, видно, цыганка крепко знала свое дело. Пуля, конечно, предназначалась мне. Не в Люду же они целились. Мы направились к подъезду. Перед тем, как войти, я еще раз оглянулся, но ничего, что бы бросилось в глаза, не увидел. Ощущать себя мишенью было неудобно, тошнотно. Лифт, слава Богу, починили. Мне не улыбалось, поднимаясь пешком на седьмой этаж, пыхтеть рядом с Людой.

В кабине лифта я не терял времени. Я снова обнял Люду. Не только потому, что меня влекло к ней. Это было и желание спрятаться, укрыться, успокоиться. Я испытывал чувство, похожее на детское, когда прячешься в подол матери в поисках утешения.

Лифт остановился, но я еще некоторое время продолжал обнимать Люду.

— Ты меня пригласил в лифт? — чуть улыбнувшись, спросила она.

Я отстранился, пропустил ее вперед и стал ключом отпирать дверь квартиры. Я открыл первый замок и хотел было вставить ключ в замочную скважину второго, как дверное полотно распахнулось изнутри. Нервы мои были на пределе, и я невольно отпрянул в сторону.

Квартира должна была быть пуста. Однако в двери стоял мой двойник и радушно улыбался.

— Добро пожаловать. Чувствуйте себя, как дома. — Он протянул руку Люде и представился: — Меня тоже

зовут Олег. — Потом он обратился ко мне: — Я слышал выстрел, но, видя тебя в целостности и сохранности, понимаю: эти суки промазали!

— Что ты здесь делаешь? — спросил я, разозленный его присутствием и развязностью, — Я же тебя просил уйти.

— Я помню, — Он кивнул, — Но я еще не допил бутылку.

Тут я сообразил, что он попросту пьян. Этого только не хватало! Тем временем он галантно помог Люде снять плащ и оценивающим взглядом бесцеремонно окинул ее с ног до головы.

— Старик, у тебя хороший вкус! — одобрил он. — Идемте, выпьем за знакомство, — обратился он к Люде.

Та посмотрела на меня. Я понимал, что должен представить Олега и объяснить его присутствие здесь, но не мог уразуметь, как это сделать.

— Люда, я тебе потом объясню, кто это, — загадочно сказал я и обратился к Олегу: — Давай пошел отсюда. Мы же договорились.

— Сначала я выпью с Людой на брудершафт! — заупрямился пьяный двойник, разлил водку в фужеры и протянул один из них Люде.

— Спасибо, я не пью, — жестко отказалась она и отвела его руку от своего лица.

— Слушай, ты, алкоголическое рыло, — свирепо прошипел я и взял его за шиворот, — чеши отсюда. Немедленно.

— Сейчас, — покорно согласился он. — Отпусти меня. Я только допью и уползу...

Я его отпустил.

— Люда, — сказал младший Олег. — Я хочу выпить этот бокал за вас. Потому что вы мировая баба. Вы мне понравились. А мне не все нравятся.

— Спасибо, — сдержанно поблагодарила Люда, не ожидавшая, вероятно, такого приема.

Олег выпил фужер до дна и, обмякнув, опустился в прихожей на стул. Он попытался погладить Люду по коленке, но она оттолкнула его руку.

— Напрасно, — с укором молвил распоясавшийся афганец. — Ошибку делаете. Зачем вам эта старая рухлядь? — и он небрежным жестом показал на меня.

— Рухлядь не может быть молодой, — Я был в отчаянии. Этот пьяный кретин испортил мне первый вечер с Людой и последний вечер в жизни.

— Что у него не отнимешь — умен! — кивнул младший Олег и стал настырно уговаривать Люду: — Люда, пойдите со мной. Что он вам может дать? Пожилое, пожившее тело? Вялую любовь? Это не жизнь, а так... литературщина. Вы же молодая женщина. Вам мужик нужен. Пойдите со мной. Не пожалеете!..

И он попытался схватить Люду за руку. Люда толкнула его, и он снова плюхнулся на стул. Вдруг, цепенея, я вспомнил, что такие или очень похожие слова много лет назад произносил и я. Мерзко было в пьяном хаме узнавать себя. Разница, конечно, была: я говорил что-то в этом же роде женщине, которую очень желал, но в отсутствие соперника, тогда как Олег выражался при мне. Не знаю, впрочем, что лучше. Кроме того, я говорил, будучи трезвым, а этот мерзавец себя не контролировал. Тоже не знаю, кто вел себя порядочнее. Тогда та женщина меня отвергла, выбрала старика.

— Посмотрите на меня, — икнул младший Горюнов. — Я точно такой же, у нас одно лицо. Только я молодой, а он — дедушка. Ну, решайте!.. А пока выпьем! — И он поднес горлышко бутылки ко рту.

— Тебе хватит. — Я вырвал из его рук бутылку и посмотрел на Люду. Кто знает, о чем она думает сейчас и как поступит?

— Это твоя квартира? — спросила Люда.

Я кивнул.

— Так почему ты у себя дома терпишь эту пьяную скотину? Это что, твой сын? Или ты боишься его? Выстави его отсюда.

Я снова схватил Олега за шиворот и поволок к двери. Он, впрочем, не сопротивлялся.

— Я не скотина, — обиженно пробубнил он. — Я же хотел, как лучше... Какие все злобные... Зачем оскорблять? Убери руки, — окрысился он на меня. — Я и сам уйду...

Я отпустил его и отпер замок. Он, пошатываясь, вышел на лестничную площадку. И когда я захлопывал за ним дверь, он успел пробормотать:

— Нас на бабу променял!

Наконец мы остались вдвоем. Я был взъерошенный и очень несчастный. Врать ей, что Олег — мой непутевый сын, не хотелось, а сказать мистическую, необъяснимую правду было невыносимо: это выглядело бы как ложь.

— Успокойся, — Люда прижалась ко мне. — Он ушел, и слава Богу. Мне неинтересно, кто это. Не переживай из-за него. Было бы глупо испортить нашу встречу. Ну, улыбнись...

Чувство благодарной нежности возникло во мне. Люда пыталась спасти наше свидание. И я отрезал в своем сознании весь неприятный, зловещий шлейф и сегодняшнего прошлого, и завтрашнего будущего. Я находился в квартире с прекрасной женщиной, в которую влюблялся все больше и больше. Я понял: надо жить данной минутой. Это было действительно царским подарком судьбы. «Смягчи последней лаской женскою...»

— Ты голодна? — спросил я, обнимая ее и умирая от счастья.

— Чудовищно, — ответила она, — И еще я умираю от счастья.

— И я тоже чудовищно хочу есть. И обожаю тебя! — Я посмотрел ей в глаза и спросил напрямик: — Что будем делать сначала?

— Не будем торопиться, — тихо сказала она.

Мы понимали один другого так, как будто прожили вместе всю жизнь.

— Тогда поужинаем. Ты хочешь чего-нибудь выпить?

— Нет... Я не хочу делить тебя с алкоголем.

— Я тоже.

Я принялся сооружать ужин, а она вошла в комнату и стала рассматривать мое жилище.

Я включил телевизор. Началась программа «Время». Специальным Указом Президента в Москве с сегодняшних 23 часов вводился комендантский час. До шести утра будет задерживаться каждый. Для работников ночных профессий выдадут специальные пропуска.

— До шести утра ты моя пленница, — сказал я, хотя на душе снова стало тоскливо.

— У меня есть еще два часа, в течение которых я могу улизнуть, — отозвалась она.

Она стояла около большой фотографии Оксаны и внимательно рассматривала ее. Я сделал вид, что не заметил этого, и усердно накрывал на стол в «фойе». Обычно сами мы ужинали, как и все, на кухне. И лишь гостей принимали в большой комнате. С едой было не очень шикарно, но в холодильнике я обнаружил банку крабов, оставшуюся с незапамятных времен. Пока я накрывал, а Люда знакомилась с квартирой, телевизор сообщал одну новость мрачнее другой. Вооруженные столкновения вспыхнули в Западной Украине... Какой-то маньяк устроил стрельбу в вагоне ленинградского метро и убил двадцать два человека... В военных действиях между грузинами и абхазцами была применена артиллерия. Много жертв с обеих сторон. Мятеж дальневосточных моряков поддержали

береговые части. Парализованы железные дороги Кавказа и Средней Азии. Через границу с Ираном ушел вооруженный отряд с грузом наркотиков. Убито три пограничника. Среди беженцев из Армении, размещенных в Коми АССР, начался голод. Когда перешли к сообщениям из-за рубежа, я выключил «ящик».

— Прощу, — пригласил я дорогую гостью за стол. — Извините, что меню не столь богатое...

— Ты перешел на «вы»? — поинтересовалась Люда.

— Это я для торжественности, ибо момент исключительный.

Я отодвинул стул, чтобы Люде было удобней сесть. Усевшись напротив, я взял салфетку (я ни разу не ел с салфеткой после того, как не стало Оксаны) и засунул ее за воротник рубашки. Люда постелила салфетку на колени.

Я положил на Людину тарелку крабов и еще разной снеди, и мы принялись ужинать. В ответ на мои расспросы она стала рассказывать о своей жизни. Муж ее сделал карьеру коммерсанта, у него оказались организаторские способности, финансовая хватка, и он возглавил совместную с французами фирму по производству и продаже мебели. Много работает, хорошо зарабатывает, в том числе и в валюте. Часто ездит за границу. Купил автомобиль «СААБ». Все время уговаривает Люду бросить службу в сбербанке, но она не хочет, ибо тогда превратится просто в его полную собственность, в его игрушку. Муж хочет купить под Москвой дачу за валюту. В доме крутятся какие-то люди. Они кажутся Люде подозрительными, нечистоплотными. Одна из комнат квартиры — а он приобрел четырехкомнатную — всегда заперта на ключ. Что там находится, Люда может только догадываться, муж ее ни разу туда не впускал. Тут я обратил внимание, что Люда очень хорошо одета, во все, как

говорят, фирменное. Совсем не так, как раньше. Муж иногда не является ночевать, продолжала свой рассказ Люда, но она не думает, что у него какая-то женщина. Скорее всего, опасные дела, в которые ее не посвящают. Она бы, может, и ушла от него... Но, когда умерла ее мать, муж — его зовут Геннадием — проявил себя замечательно. Был заботлив, внимателен, добр, не оставлял ее одну. Организовал похороны, добился хорошего кладбища, устроил широкие поминки. Не забыл про девять и сорок дней. Вел себя по отношению к Люде безукоризненно. Да и она привыкла к нему. Ну, не любит его. Да разве все жены любят своих мужей? Это редкость. А кроме того, и уходить ей не к кому, да и некуда. Квартиру матери после ее смерти забрало государство. А Геннадий хоть и обращается с Людой, как с вещью, но как с любимой вещью. Покупает ей наряды, драгоценности, все время хочет порадовать. Наверное, по-своему любит. Действительно любит, но как хозяин, как собственник, как восточный человек.

Я спросил, сказала ли она Геннадию, что не придет сегодня ночевать? Да, она позвонила ему в контору буквально за две минуты до ухода из сбербанка и сказала, чтобы он ее сегодня не ждал. Если бы она сообщила раньше, он бы приехал и помешал.

— Как он прореагировал? — поинтересовался я.

После моего заявления, сказала Люда, сначала последовала долгая пауза, потом вопросы, переходящие в крик и мат. Но куда она уходит, Люда не сказала, несмотря на его мольбы. Врать не хотелось, а правду говорить было невозможно, боязно, страшно. Характер у Геннадия мстительный и вспыльчивый. Кроме того, он жуткий ревнивец. Тем более еще до брака Люда что-то говорила ему обо мне с симпатией, и он не упускал случая, чтобы брякнуть про меня какую-нибудь гадость. Тут Люда перевела разговор. Она сказала, что слышала от кого-то о гибели Оксаны и

даже хотела тогда написать мне, но побоялась, что я неправильно пойму ее соболезнования. Она только сейчас увидела лицо Оксаны на фотографии. Оксана напомнила ей чем-то Анни Жирардо. Она догадывается сейчас, почему я в тот раз не откликнулся на ее весьма прозрачный намек. Она, кажется, понимает меня, хотя тогда ей было очень обидно и горько. Она проревела всю ночь...

Тут я осознал, на что обрекаю Люду. Попросту разрушу ее жизнь. И я забил отбой. Заявил, что завтра уезжаю навсегда. И никогда не вернусь. Будет лучше, если Люда после ужина возвратится домой и обернет свой звонок мужу в шутку. Это будет правильно, разумно. И безопасно. Я себе не прощу, если с ней что-нибудь случится. Не хочу, чтобы из-за меня, из-за одной только ночи, она сломала бы свою жизнь.

— Это не жизнь, — грустно произнесла Люда. — Во всяком случае, не настоящая жизнь. Если ты хочешь, я уеду домой. Но я не жалею, что так поступила. Я люблю тебя. С первого раза, когда увидела. У нас не принято, чтобы женщина произносила такие слова первой, но мне все равно.

У меня невольно сдавило горло, влажная пелена навернулась на глаза. В это время зазвонил телефон. Я дернулся было к трубке, но она сказала:

— Не подходи.

— И я тебя люблю, — сказал я и почувствовал, что не соврал.

Мы сидели друг против друга и слушали, как надрывался телефон. Наконец он смолк.

— Спасибо, — сказала Люда.

— Ты сошла с ума. Разве за это благодарят?

— У меня какое-то дурное предчувствие, — проронила Люда. — Мне тревожно.

Я чуть было не раскололся и не поведал ей о предсказании цыганки, но взял себя в руки и

промолчал. Я подошел к ней, поднял со стула и начал беспорядочно целовать. Телефон зазвонил снова, требовательно и настойчиво.

— Ладно, последний раз подойду, а потом выдерну шнур из розетки.

Я оторвался от Люды, подошел к аппарату и поднес трубку к уху.

— Добрый вечер. Это Олег Владимирович? — спросил мужской голос. — Горюнов?

— Добрый вечер, — отозвался я. — Слушаю вас.

— Попросите, пожалуйста, Люду, — сказал голос. — Я знаю, что она у вас.

— Какую Люду? Куда вы звоните? — произнес я, — Вы ошиблись.

— Позовите Люду — мою жену. И не надо врать, что она не у вас. Она мне сама сказала, что отправляется к вам.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это недоразумение. Я не знаю никакой Люды. — Я сделал знак, чтобы Люда сняла трубку с параллельного аппарата. Она уже, видно, догадалась, кто звонит, и поспешно схватила трубку. Я продолжал:

— Тут какая-то ошибка.

— Хватит болтать. Я же слышал, как кто-то взял вторую трубку. Не сомневаюсь, это она.

— Слушайте, вы рехнулись! Вы ненормальный!

— Правильно. Сейчас я приеду и подстрелю тебя и ее. И меня оправдают, потому что я действительно рехнулся, а психов не осуждают. Слушай, Люда! Я знаю, что ты меня сейчас слушаешь. Ты меня знаешь. Я на ветер слов не бросаю. Не молчи. Имей мужество ответить. Немедленно приезжай домой.

Люда молчала, а я сказал:

— Повесьте трубку.

Трубку на том конце провода положили.

— Ты в самом деле сказала ему, что будешь у меня? — спросил я.

— Как я могла?! — Она помотала головой, — Он взял тебя на пушку.

— Откуда же он узнал, что ты здесь?

— Он ревновал меня к тебе, хотя и понимал, что у нас ничего не было. Он видел выражение моего лица, когда ты вел передачу по телевизору, видел, как я на тебя смотрела. Один раз у нас даже вышел скандал. Он хотел, чтобы я пошла с ним на день рождения человека, который для него был важен, а ты в этот вечер вел программу. Я уперлась и не пошла, и он понял причину. Обычно я безропотно подчинялась. Кроме того, твои книги. Я их читала часто. Он хорошо изучил меня и все сообразил. Я-то не удивлена этому.

— Понятно, — процедил я, проклиная себя, что откликнулся на звонок. — Глупо вышло...

— Надо немедленно уезжать, — с испугом сказала Люда, — Собирайся.

— Перестань паниковать... — хорохорился я. — Мы никуда не поедem.

— Ты его не знаешь. Я видела у него в ящике стола револьвер. А однажды он открыл при мне сейф...

— У вас дома есть сейф?

— Да, он держит в нем валюту. И я заметила там... по-моему, это был автомат... Его окружают люди... они способны на все. Надо бежать... Сломаю голову...

— У меня железная дверь, мне кооператоры поставили... Ее не взломаешь...

Люда двинулась в прихожую и стала надевать плащ.

— Через пятнадцать минут он будет здесь. Пойми, я не за себя боюсь. Надеюсь, я с ним совладаю. Ты можешь уйти немедленно ради меня?

— Я ради тебя все сделаю... Но это как-то не по-мужски. Противно...

— Ты болван. Хотя и очень любимый. Он ни перед чем не остановится. Он вооружен, — Она была в отчаянии. — Скорее. Тут каждая минута дорога.

Ее страх передался мне — дело, видно, и впрямь нешуточное! Я быстро оделся, сунул в карман свое газовое оружие и стал звонить на пульт охраны. Как только квартиру взяли на охрану, мы с Людой выскочили на лестничную клетку.

Лифт был занят. Люда не стала дожидаться, она поспешила вниз. Я последовал за ней. Перед тем, как выйти во двор, Люда высунула голову и огляделась:

— Никого.

Она быстро направилась к моей машине, я открыл ключом дверь, она скользнула на сиденье и отворила дверь со стороны шофера. Я уселся на водительское место.

— Поехали. Скорее...

Я завел двигатель и тронулся с места. Когда я поворачивал в арку, навстречу в мой двор въезжал серебристый «СААБ».

— Я же тебе говорила, — тихо сказала Люда. — Это он. Тут как тут.

Я вывернул на Тверскую и поехал вниз. Я посмотрел в зеркальце — погони за нами не было. Значит, он не догадался, что встреченная «Волга» — моя и что внутри сидела Люда... Я выехал из города и помчал по мокрому Калужскому шоссе.

— Куда мы едем? — спросила Люда.

— Ко мне на дачу! — ответил я и мигнул дальним светом, чтобы встречный не слепил меня яркими лучами фар. Но тот даже не подумал переключить дальний свет на ближний. — Сволочь! — привычно ругнулся я.

Я обратил внимание, что в последние месяцы общее беззаконие перешло и на пренебрежение автомобильными правилами. Ощущение безнаказанности во всем проникло и в сознание

водителей, многие начали нагло ездить на красный свет, нарушать, не обращая внимания на регулировщиков, не останавливаясь на требовательные свистки гаишников. Анархия, поглотившая страну, перекочевала и на дороги, ездить стало опаснее, аварий и жертв стало куда больше. Несмотря на будничные вечер и поздний час, слепящих огней было немало. Вдруг впереди послышался истошный рев сирены. Прямо на нас перла колонна военных грузовиков, впереди которой, мигая синим светом и извергая из себя тревожный вопль, мчалась легковая машина с желтой фарой в центре. Из динамиков послышалась команда:

— Немедленно встать на обочину!

Я послушно свернул с асфальта и тормознул. В Москву на приличной скорости шли грузовики с солдатами, а замыкали колонну с десятком бронетранспортеров. «Дворники» беспрерывно ерзали по мокрому лобовому стеклу. Я посмотрел на Люду. Ее лицо, освещенное фарами военных машин, было загадочно и прекрасно.

— Тебе угрожает какая-то опасность? — вдруг спросила она.

— В общем... да... — Я немного помялся, — А почему ты так решила?

— Не знаю... Мне так показалось... Ты поэтому уезжаешь?

Соблазн рассказать ей все был велик. Я даже открыл рот, но с трудом сдержался. Я считал, что это не совсем по-мужски. Решил приврать что-то правдоподобное. Вспомнил своего двойника и заговорил:

— Нет, не поэтому. Я ведь наполовину еврей, по матери. Меня пригласили в Израиль. На месяц. Но кто знает, что будет за это время здесь. И кто знает, что случится за этот месяц там. Помнишь: «С любимыми не

расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них... И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...»

— Помню. Только я такого никогда не чувствовала... Умом понимала, но сама ни разу не испытала...

У меня сжало горло от того, как она это сказала. Я потянулся к ней, она приблизила свое лицо к моему. Мы поцеловались, а прожектора бесконечной колонны безжалостно освещали нас, выставляя напоказ всему свету. Наконец зловещая колонна прошла мимо, наступила черная темнота. Вокруг никого не было, машина одиноко стояла на обочине.

Мои руки непроизвольно направились от ее коленок и выше. Она сначала ответила на мое желание, а потом оттолкнула ищущие руки:

— Не здесь! Так не хочу!

Лицо мое пылало, но я послушно убрал свои конечности, завел двигатель и поехал вперед как сумасшедший.

— Не гони, дурак! — нежно засмеялась она. — Я никуда не денусь. Я сама тебя не отпущу.

Было начало одиннадцатого, когда я подкатил к даче. Достав из «бардачка» связку ключей, я сначала отпер калитку, потом снял с крюков перекладину, придерживающую воротины, и распахнул створки. Въехал, снова выскочил из машины, закрыл ворота, запер калитку, сел на шоферское сиденье и тихо приблизился к дому.

Фонарь, горевший на участке, освещал стеклянные дождевые капли на голых ветках. Я открыл правую дверь, помог Люде выйти из машины и тут увидел, что в одном из окон дома горит свет. Я замер как вкопанный.

— В доме кто-то есть, — шепнул я Люде.

— Почему ты так решил? — тоже шепотом откликнулась она.

— Свет в окне!..

— Может, ты забыл погасить, когда был здесь последний раз?..

Мы говорили очень тихо.

— Исключено. У меня привычка — все гасить. Подожди.

Я вынул на всякий случай из кармана плаща газовый револьвер и на цыпочках направился к светящемуся окошку. Осторожно, опасаясь, чтобы меня не увидели из дачи, я заглянул в комнату. Там спиной ко мне сидел какой-то мужчина и смотрел телевизор. Господи! Что за проклятый день! Кто это? И вдруг озноб захлестнул все тело. А если это убийца? Если он меня ждет? Но откуда он мог узнать, что я сегодня приеду сюда? Людин муж? Вряд ли, слишком уж быстро он сориентировался. Человек встал, подошел к столу, взял сигарету и зажег спичку. Лицо его осветилось.

Я не знал этого человека, видел его впервые. Мужчина опять уселся перед телевизором. Я понял, что услышать меня он не может, так как звук был включен довольно громко. Я, находясь снаружи, слышал песню, которую пел Саша Малинин. Кстати, он мне очень нравился. Я попятился назад к машине.

— Там кто-то есть? — беззвучно спросила Люда.

— Да. Человек смотрит телевизор.

— Ты его знаешь?

— Нет. Никогда не видел.

— Поехали отсюда, — решительно произнесла Люда, — Скорее.

— Мне надоело бежать. Сначала из своей квартиры, потом со своей дачи. Это унижительно!

— А вдруг это Геннадий? — ужаснулась Люда.

— Исключено. Что он, волшебник или супермен?!

Но Люда рванулась к дому и заглянула в окошко.

Через несколько секунд она возвратилась.

— Это не он! Уезжаем! — сказала Люда.

— Ты, оказывается, трусишка...

Я не мог уехать. Честно говоря, я сам сильно дрейфил, но не в силах был заставить себя «выйти вон». Было стыдно перед женщиной, да и сам я к себе стал бы неважно относиться. Хотя и так относился неоднозначно.

— Ты побудь здесь, а я войду в дом, — наконец решился я.

— Нет, — Тон у Люды был непреклонный, — Я за тебя боюсь. И не пущу.

— Ты мне не жена, — сказал я грубовато. — Так что не командуй.

— Поехали! — приказала Люда, — Кто-то из двоих должен быть умный.

— Понимаешь, я тебя ужасно хочу. А это мой дом. И поэтому я туда пойду. И выгоню этого типа. И мы будем вместе.

— Умоляю тебя. Не надо. У нас есть дом — твоя машина.

— Нет, я так не хочу, — повторил я ее слова.

— Тогда я пойду с тобой. Рядом.

— Ладно, — после небольшой паузы согласился я. — Только ты пойдешь сзади.

Люда увидела прислоненную к дому лопату и взяла ее. Мы двинулись к крыльцу. В правой руке у меня был газовый револьвер, в левой — связка ключей. Сердце колотилось от страха и волнения. Люда шла за мной с лопатой наперевес. Каким-то вторым зрением я увидел нас со стороны и понял, что мы представляем собой весьма комичное зрелище. Но мне было не до смеха. Я открыл входную дверь и буквально впрыгнул в комнату — откуда только взялась прыть! Мужчина обернулся и, увидев нас, вскочил. На нем был мой тренировочный костюм, купленный в Париже по настоянию Оксаны. Мы смотрели друг на друга, а из телевизора заливался голос Малинина:

*Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина!*

— Что вы здесь делаете? — спросил я, — Кто вы такой?

— Вы хозяин дачи? — догадался жилец. Это был мужчина лет сорока пяти, наголо стриженный. Один глаз у него нервно подергивался.

Я увидел, что на журнальном столике стояла бутылка «Наполеона» — подарок каких-то иностранцев, — которая была наполовину пуста.

— Не только дачи, но и костюма, который на вас, и коньяка, который вы пьете.

— Простите... Я ничего не взял у вас. Я вообще-то бомж... Зимой... вот так... кочую с дачи на дачу... Там, где хозяева живут только летом... Но не ворую...

— И давно вы здесь? — Я немного успокоился, видя, что гость не проявляет агрессии.

— Уже четвертый день. Продукты ваши, конечно, подъел... Но я отработаю... Приду весной, вскопаю что надо... Я и плотничать могу...

— Вот что, — вмешалась вдруг Люда, — Быстро уходите отсюда, пока мы не вызвали милицию. Бегом. Я вас узнала. Вас по телевизору показывали.

И тут незваного гостя словно подменили. Он рванулся к открытой входной двери и немедленно исчез. Недоумевая, я выскочил вслед за ним на крыльцо и увидел, как он с лету перемахнул через забор.

— Плакал мой французский тренировочный костюм, — заметил я меланхолично. — Что это за тип?

— Несколько дней назад его рожу показывали по московской программе. Убил жену и скрылся. У него примета — нервный тик одного глаза. Вот он и задал стрекача.

Я посмотрел на Люду, которая, как ополченка, держала лопату в боевой позиции.

— Ты вооружена и очень опасна, — сказал я, — Как ты думаешь, он не вернется? У него тут небось остались какие-то его шмотки?

— Я думаю, он сейчас ставит мировой рекорд по бегу на очень длинную дистанцию.

— Неужели мы одни? — спросил я, отнимая у нее лопату и вводя в дом. — Я не могу в это поверить.

— Запри-ка получше дверь, — посоветовала Люда. — А потом проверь дом — нет ли здесь кого еще.

Я послушался мудрого совета. Осматривая дачу, я понял, что посетитель проник внутрь через окно второго этажа, выбив стекло в спальне. Здесь он и спал, постель была вздыблена и не убрана. Я закрыл дверь спальни и спустился. Внизу я достал две чистых рюмки из буфета, взял бутылку «Наполеона» и разлил коньяк.

— Мы должны поблагодарить этого убивца, что он не все вылакал, — сказал я. — Честно говоря, после всего пережитого дербалызнуть по рюмашке будет недурно.

— Да, вечер выдался интересный, — поддержала меня Люда. — Разнообразный.

— Боюсь, что после всего мне понадобится немало усилий, чтобы оказаться на высоте...

— Вот уж чего не боюсь. — Люда нахально посмотрела мне в глаза.

— За нашу встречу! — Мы чокнулись и выпили.

— Пойдем в кабинет. — Я забрал с собой остатки коньяка, обнял Люду за плечи, и мы по деревянной лестнице отправились на второй этаж.

И когда наконец случилось то, к чему мы шли весь вечер через цепь препятствий, настырно затрещал телефон. Но звонок как бы раздавался в другой реальности, в ином пространстве, в неясном измерении. Я вроде бы все слышал, но я ничего не слышал. Даже

если бы это звонили от самого Господа, я бы все равно не снял трубку...

У нашей жизни — кратки сроки.
Мы — как бумага для письма,
где время пишет свои строки
порой без смысла и ума.

Вся наша жизнь — дорога к смерти,
письмо, где текст-то — ерунда...
Потом заклеят нас в конверте,
пошлют неведомо куда...
И нет постскриптума, поверьте...

Глава пятая

Я проснулся около пяти. За окном затаилась осенняя враждебная тьма. Тусклый свет уличного фонаря еле освещал раскоряченные голые деревья, которые в отчаянии от потерь вздымали руки-сучья к небу. Остатки света проникали в кабинет вместе с причудливыми тенями и придавали предметам зыбкую таинственность. По крыше монотонно молотил октябрьский занудливый дождь. В даче было тепло, но все равно не хотелось выползть из кровати. Однако организм требовал. Люди моего возраста обычно встают ночью. Чего скрывать, дело житейское. Как правило, после нехитрой процедуры в туалете я отключался снова. Вернувшись в постель, где мирно и бесшумно дышала Люда, я тихо, чтобы не разбудить ее, скользнул под одеяло и лежал на спине, не закрывая глаз. Сон не приходил. Разброд мыслей, переполох чувств, наворот событий — все это перемешалось в душе. Мое плечо касалось ее плеча. Привычка к ночному одиночеству и постоянная сжатая тоска от этого растворились куда-то, невидимая пружина как бы разжалась. Я снова был не один, я снова возвращался к жизни. «Правда, не очень-то надолго», — усмехнулся я. Но все равно я поблагодарил судьбу за неожиданный и бесценный подарок, который мне был преподнесен в конце пути. Я встретил Люду в тяжкую минуту. Казалось, ничто не сможет отвлечь меня от ожидания смерти. И действительно, ожидание оказалось очень сильным, оно подмяло под себя все остальные эмоции и ощущения. Но присутствие Люды, ее нежность, ее естественность совершили чудо. Страх смерти не то чтобы улетучился совсем, но отодвинулся далеко-далеко. И мы уплыли вместе в какую-то замечательно

прекрасную страну, где не было ни времени, ни границ. О, я умел ценить всамделишность любви и искренность ее выражения. Думаю, подлинная близость между женщиной и мужчиной, если она освящена любовью, всегда безгрешна, ибо природа не бывает похотливой...

Какие только женщины не попадались мне за длинную жизнь! И кусающиеся, демонстрирующие зубами жгучую страсть (после них на теле долго остаются отметины), и лизучие, изображающие нежность, и бешено орущие, афиширующие эротический экстаз, и манерные, якобы оказывающие сопротивление и тем самым подчеркивающие собственную чистоту, и деловитые, занимающиеся любовью так, будто печатают на машинке статистический отчет, и интеллигентно постанывающие, выражающие тактичным кряхтением чувство глубокого полового удовлетворения, и ощущающие себя подарком неподвижные бревна, и лениво-пресыщенные, почитывающие во время акта заграничный детектив... Признаюсь, это глубокое расследование основано не только на личном опыте. Я не хочу казаться ни лучше, ни хуже — в зависимости от точки зрения на этот предмет. Кое-что я позаимствовал из практики друзей, делившихся со мной своими амурными похождениями...

Потом совершенно беспричинно я вдруг вспомнил свой визит в райком партии к секретарю-женщине, ведающей идеологией. Это было лет, наверное, двадцать пять тому назад. Направили меня в этот самый райком на собеседование. Мою очередную повесть редколлегия «Юности» представила на Государственную премию СССР. И, как тогда говорили, требовалась поддержка многих организаций, в том числе и райкома партии. А меня в это время обкладывали со всех сторон, загоняя в коммунистическую стаю. И улещивали, и завлекали, и

обольщали, и ласково угрожали. А я вилял, петлял, ускользал. Главное было — смыться так, чтобы не навредить себе, не навлечь гнева этого могущественного клана, ибо коммунисты мстили беспощадно. Сначала я убеждал вербовщиков, что еще не созрел для такого ответственного шага.

— Вы созрели! — уверяли меня.

Потом, после очередных покушений на мою беспартийную свободу, я принялся себя порочить: мол, недостойн, не чувствую в себе уверенности, что стану активным строителем светлого будущего, что в психологии моей немало мелкобуржуазного. (Последнее, надо признаться, было правдой.)

— Вы достойны! — возражали мне. — Партия поможет вам избавиться от ваших недостатков.

Во время собеседования в райкоме руководящая дама, лет эдак тридцати пяти, понимая, что я заинтересован в поддержке, поперла на меня, чтобы я дал ей обещание вступить в их славные ряды. Я понимал, что, если я опять слиняю, не видать мне премии, как собственной плешки на макушке. Тогда, чтобы обставить поприличнее свой отказ, я прибегнул к напраслине и прямой клевете на самого себя.

— Вы знаете, я бы с удовольствием пополнил ряды вашей замечательной организации, но у меня есть жуткий порок, чтобы не сказать хуже, — доверительно признался я.

Собеседница перегнулась через стол, сгорая от любопытства.

Я скромно потупился:

— Дело в том, что я — бабник! Я бы даже сказал, бабник-террорист! Увижу юбку — не могу пропустить. А это несовместимо с высоким званием коммуниста.

И я посмотрел на нее циничным мужским взглядом, как бы срывая с нее костюм, купленный явно где-то за границей. Мои глаза раздевали, шарили по ее телу,

оценивая скрытые под одеждой женские прелести. Между прочим, прелести, судя по всему, имелись.

В жизни, кстати, я никогда таким образом не смотрел ни на одну женщину. Но тут — общение с актерской братией пригодились — я попытался сыграть донжуана. Коммунистка покраснела и откинулась в кресле. Она, конечно, почувствовала издевку, и, думаю, ее больше обидело мое лицемерие, то, что мое восхищение ею как женщиной было ненатуральным. Она быстро взяла себя в руки и сухо закончила нашу встречу. Я покинул безликий кабинет, радуясь, что отбоярился. Государственной премии я, конечно, не получил. Но это меня, в общем, не огорчило, так... чуть царапнуло самолюбие... Независимость, пусть даже относительная, была мне тем не менее дороже...

Тут я себя одернул, ибо отдавать последние часы подобным идиотским воспоминаниям было полной чушью.

Какими длинными обернулись для меня заключительные сутки! Как будто я прожил за это время еще одну, дополнительную жизнь. Во всяком случае, событий, нагромоздившихся друг на друга, с избытком хватило бы на несколько лет.

А ведь еще совсем недавно я беспечно трясся в спальном вагоне первой полнотражной русской железной дороги. В это же самое время вчерашних суток опаздывающий состав тащился где-то между Бологим и Тверью. Я неважно спал, как всегда в поезде. В купе было слишком жарко, я мучился от духоты, клял железную дорогу, ворочался, пытаюсь уснуть. И совершенно не подозревал, что по прибытии в столицу мое существование перевернется и я выйду на финишную прямую жизни. Пока сбывалось все, что наобещала цыганка в своем предсказании. Но единственное, чего я никак не мог уразуметь, — это возникновение моего молодого двойника. Младший

Олег был одновременно как бы я и как бы не я. Различие между нами, конечно, существовало. Но и сходство было невероятное. Если бы я родился в его время и оказался на его месте, я стал бы, вероятно, точно таким же. Но откуда он возник? И почему именно сейчас? И для чего? Увижу ли я его еще раз? И почему он улетает в Израиль? Тут я подумал о сочетании в себе самом русского и еврейского. Графа в пятом пункте анкеты, где я писал «русский», надежно защищала меня от государственного антисемитизма. В детские годы и в институтские я не ощущал на себе, что я частично неполноценен. Мама по воспитанию своему была совершенно русской женщиной. Она не знала ни еврейского языка, ни национальных праздников. А из кушаний умела готовить только два блюда — фаршированную рыбу и «тейглах» — запеченные, в меду, палочки из теста. Мама вообще была замечательным кулинаром. Из еврейских слов я знал несколько: «дрек мит пфеффер», или в переводе «говно с перцем», «мишугене», что означало «сумасшедший», «лохаим» — слово, которое говорили, чокаясь, и «шлимазл», что переводилось как «недотепа» или «неудачник». Я явственно ощущал в себе еврейские гены только тогда, когда слышал национальную музыку, щемящую, печальную, надрывную. Тут вся душа моя отзывалась на эти звуки, инстинктивно взбудораживалось что-то прятанное в глубине, на глаза наворачивались слезы, и какие-то смутные библейские картинки начинали бередить сердце.

Но вообще проблемы евреев довольно долгое время не привлекали моего внимания. К созданию государства Израиль я отнесся равнодушно, по-моему, даже не заметил. И лишь когда было сфабриковано «дело врачей», я впервые осознал жестокую мощь государственного антисемитизма. Тогда я расплывчато осознал, что наш строй воспринял и унаследовал

гитлеровский расизм. Но в то время это было зыбкое, несформулированное чувство. Потом умер генералиссимус, и наступили иные времена. Я не рекламировал, что я полукровка, но особенно и не скрывал. Кто-то знал о том, что я «порченный», но для широкой публики я был таким же русским писателем, как Аксенов или Высоцкий. Всерьез я начал задумываться над еврейскими делами, когда Россию стали покидать друзья — Галич, Коржавин, Копелев, Эткинд, Некрич. А в перестроечные годы, когда имперская державная юдофобия несколько отступила, то на передний план вышли черносотенцы-общественники... Добровольцы, волонтеры. Я догадывался, что и в армии, и в КГБ у погромщиков немало покровителей и сочувствующих. Но не пойман — не вор. Я вспомнил встреченную вчера бесконечную военную колонну, идущую в Москву, и поежился. Идея армейского заговора последние месяцы висела над страной. Об этом говорилось по телевидению, спорили газетчики, толковали в очередях.

Тут я ощутил, что Люда проснулась. Она лежала, не шевелясь, но я чувствовал, что ее глаза открыты.

— Ты не спишь? — еле слышно, без голоса, спросил я.

— Нет... — так же тихо прошептала она, — Пытаюсь угадать, о чем ты думаешь. По-моему, о судьбе страны.

— Неужели мои мозги скрипели так громко, что разбудили тебя? — поинтересовался я.

— Нет, я сама проснулась. Преступно спать, когда у нас с тобой осталось так мало времени. Когда у тебя самолет?

Я вместо ответа погладил ее. Мы потянулись друг к другу, и снова я отправился в блаженное путешествие без времени и без границ...

А потом я отвалился в сон, минут, наверное, на десять — пятнадцать. Когда я проснулся, то увидел

Люду, выходящую из ванной в моем купальном халате и с мокрой головой, обернутой полотенцем.

Начало мутно светать. Дождь по-прежнему стучал по железной крыше. Я отправился в душ, наказав Люде обшарить в кухне все шкафчики и приготовить какой-нибудь завтрак. Когда я стоял под горячим душем, я вдруг вспомнил, что покойников обмывают. Стало как-то очень противно, но я подумал, что со мной можно будет эту церемонию не производить. Тем не менее стало не по себе, меня подташнивало. Я выполз из ванной в одних трусах. Кстати, кальсон я не носил никогда. Еще в молодости я твердо сказал себе, что если я надену кальсоны, то, значит, я — старик. И эта молодая бравада так засела в башке, что до последней минуты я держался. В зимние холода коченел, но в кальсоны не влезал ни за что. Это, может, и не говорит о большом уме, но «из песни слова не выкинешь». Люда уступила мне мой халат — она уже успела одеться.

— С завтраком дело дрянь! — сказала она. — Я устроила повальный обыск, но этот убивец подъял практически все. Есть несколько картофелин, но нет ни масла, ни сметаны. Также отсутствуют чай, кофе, сахар, хлеб и все остальное тоже.

— Ты как себя чувствуешь? — спросил я.

Она нежно посмотрела на меня и сказала после паузы:

— Замечательно!

— Тогда поехали завтракать в Москву, — шутливо произнес я и отвернулся, стараясь, чтобы она не заметила, как у меня увлажнились глаза.

В сарае хранились две двадцатилитровые канистры с бензином — неприкосновенный запас. Я снял с гвоздя ключи и, осторожно озираясь по сторонам, направился к сараю. Внутри дома ощущение опасности уходило на второй план, но как только я очутился вне стен, сразу же почуял себя дичью, за которой охотятся. Однако

путешествие до сарая и обратно закончилось благополучно. Я подтащил обе емкости к автомобилю, открыл багажник, всунул в жерло бензобака большую воронку и, дав бултыхающемуся внутри канистры бензину успокоиться, начал заполнять бак. Подбежала Люда и стала поддерживать канистру, чтобы мне было не так тяжело.

— Отпусти, я сам. — Я не подозревал, что во мне столь сильно развито мужское самолюбие. И не только мужское, но и возрастное.

— Я хочу тебе помочь, — улыбнулась Люда. — Я хотела бы это делать всегда.

Я опять тупо промолчал, не зная, как себя вести и что ответить. Я угадывал: она понимает, что я скрываю какую-то тайну, но не хочет быть назойливой.

Я запер дом, мысленно попрощался с ним навсегда, и мы направились в город. Я за свою жизнь насмотрелся немало детективных фильмов и поэтому время от времени поглядывал в зеркало, не преследует ли нас какая-нибудь машина. Но нет, сзади «хвоста» не было. Вскоре мы нагнали колонну бронетранспортеров, которая неторопливо и угрюмо двигалась в сторону столицы. Войска явно стягивались в Москву. Все это делалось под маркой подготовки к параду седьмого ноября.

— Если военные захватят власть, я окажусь за решеткой одним из первых, — сказал я, будто ставил диагноз. — Будешь мне носить передачи?

— Ты же сегодня уезжаешь. Будем надеяться, что это не произойдет до твоего отъезда.

— Ну, всякое может случиться... А вдруг и не улечу... — невнятно пробормотал я. Все-таки слабая надежда, что я уцелею, что меня не кокнут, тлела где-то в недрах сознания.

— Правда? — встрепенулась Люда. — Ты, может, не уедешь?

— Скорее всего уеду, — нетвердо сказал я, — Хотя, честно говоря, очень не хочется. Маленький шанс, что я останусь в Москве, есть. Тем более после нашей встречи у меня нет никакого желания расставаться с тобой. Я тебя люблю. А я так давно не говорил этих слов.

Люда положила мне голову на плечо и долго молчала.

— Я мечтала услышать эти слова именно от тебя. Оставайся. Я тебя очень прошу...

— Попробую... Но тут не все зависит от меня... — Противно было не договаривать, утаивать, но выхода не было. Сказать правду я не смел.

— Я могу как-то повлиять, помочь, что-то сделать?

— К сожалению, нет. Тебя отвезти на работу?

— Нет, я сегодня не пойду. Я провожу тебя...

«В последний путь», — мысленно и невесело пошутил я.

Когда мы подъехали к моему дому, я затормозил и, прежде чем въехать на свое место, внимательно оглядел пространство двора. Все выглядело буднично. У задворков магазина «Армения» стоял фургон, и грузчики что-то разгружали. Грузчики были натуральные. Я взглянул на часы: было без четверти девять. День выдался тусклый, унылый, морось висела в воздухе. Я посмотрел на Люду и сказал:

— Ты даже не подозреваешь, что ты для меня значишь. Я тебе так благодарен... Тьфу... Все эти слова не передают и сотой доли того, что я испытываю по отношению к тебе. Я просто помираю от счастья. Запомни, что я тебе сказал. — Видно, в моем голосе проскользнула какая-то завещательная, прощальная интонация.

Люда тревожно взглянула на меня:

— Тебя что-то гнетет, я знаю. Не скрывай от меня. Тебе грозит беда? Скажи мне. Я постараюсь помочь. Не думай, что я слабая.

— Может, позже и скажу. А сейчас айда завтракать. — Я перевел наш разговор на другой лад. — Желудок бунтует и требует. Никто так не любит завтракать, как я. А также обедать и ужинать. И никто не относится к своему желудку с таким глубоким уважением. — Я болтал без перерыва.

Въехав, во двор, я протиснул «Волгу» между двумя соседскими машинами. Одна из них была уже накрыта брезентом — законсервирована на зиму. Мы вошли в подъезд, лифт, как ни странно, работал, и мы поднялись на седьмой этаж. Здесь перед нашими глазами предстало отвратительное зрелище. Обивка с моей двери была содрана и сожжена: На полу валялись куски черной, обгоревшей ваты. Дымные подпалины, оставшиеся от огня, причудливо разукрасили дверь. Потолок был также закопчен. У двери на полу валялась литровая бутылка. Я поднял ее и понюхал. Она пахла бензином.

— Интересно, цело ли что-нибудь внутри? — бесцветно спросил я.

На верхнем дверном замке виднелись следы попыток взлома. Привычными движениями я открыл оба замка и распахнул входную дверь. В квартиру, похоже, огонь не пробрался. Я быстро вбежал в большую комнату и огляделся. На первый взгляд все было в порядке, ничего не тронули. Никто, кажется, сюда не входил. Видно, внутрь поджигатели проникнуть не смогли. Я набрал номер охраны и спросил, не получали ли они на пульте какие-нибудь тревожные сигналы из моей квартиры. Незнакомый женский голос ответил, что все было спокойно, что сигнал у них срабатывает только в том случае, когда открывается входная дверь или разбивается окно. Я повесил трубку. Вздохнул. Помолчал. И вдруг что-то нахлынуло. Видно, лопнула какая-то пружина, которая заставляла меня держаться.

Я сорвался... Куда подевались спокойствие, ирония, сила!

У меня началась форменная истерика. Я заорал, что не могу больше выносить этого ожидания, что лучше умереть, чем жить в таком напряжении. Слезы текли, а я взхлеб открывал Люде все, что таил от нее, рассказывал про цыганку, про ее зловещий прогноз. Регулярно сморкаясь и шмыгая, поведал о том, что происходило со мной вчера, о появлении младшего Олега, о Поплавском, об осквернении материнской могилы. Она обняла меня, а я уткнулся ей в живот, как когда-то в детстве утыкался в передник мамы. Я объяснил ей, что никуда не собираюсь уезжать по своей воле. Она гладила меня по голове, целовала лицо, умоляла успокоиться, утешала, шептала нежные, ласковые слова. Я всхлипывал, а она платком вытирала слезы с моих глаз. Не помню, когда я плакал последний раз. Ревущий пожилой мужчина — зрелище, вероятно, малопривлекательное. Но мне не было стыдно перед Людой за то, что я распустил нюни, за проявленную слабость, за малодушие, за трусость. Наоборот, мне стало легче, и я постепенно успокоился. А Люда после моего взрыва отчаяния стала мне еще ближе, еще дороже...

Когда мы завтракали, в дверь позвонили.

— Я сама посмотрю, — сказала Люда, пошла в прихожую и прильнула к глазку.

Через несколько секунд она вернулась в кухню.

— Там молодой Олег... — И Люда вопросительно взглянула на меня. — Открыть? Может, не стоит... Черт его знает... Он мне не понравился...

Вместо ответа я выскочил в переднюю. Я вдруг осознал, что ждал его прихода и желал его. Я распахнул входную дверь. В руках Олег держал небольшой чемодан.

— Не помешаю? — галантно спросил он.

— Я рад твоему появлению, — сердечно сказал я, — У тебя невероятное чутье — ты поспел как раз к завтраку.

— Привычка опытного холостяка, — отозвался Олег. Я покосился на его чемодан.

— Это мои шмотки, все, что я увожу из страны. Рукописи, — пояснил двойник. — А я доволен, что вижу тебя целым и невредимым.

— Я отвезу тебя в аэропорт... — предложил я.

— Поскольку я читаю твои мысли, то вдвойне ценю твое предложение. Но думаю, не стоит, — отказался Олег. — Тебе лучше пока не выходить. Назначенный срок еще не кончился.

— А я его и не выпущу, — вдруг вмешалась Люда, — Сегодня ему лучше не показываться на улице.

Олег вопросительно взглянул на меня.

— Дама в курсе? — спросил он.

— Ну-ну, раскомандовалась, — мягко осадил я Люду, а потом добавил — Люда все знает.

— Тут у вас было не скучно. — Олег присел к столу. — Как я вижу, было жарко. — Люда налила ему кофе. — Вызывали пожарных? Или сами погасили?

— Поджигали дверь, когда нас не было. Мы здесь не ночевали.

— Повезло, — засмеялся Олег. — А то это вам очень бы помешало. Если бы я знал, что вы уедете на дачу, то я бы, может, и остался.

— А тебя кто приютил на ночь? — поинтересовался я.

— Мне вчера была необходима баба, — откровенно признался младший Горюнов. — Поскольку здесь, — он поклонился в сторону Люды, — я получил афронт... Кстати, приношу извинения за мое вчерашнее хамство... Выпил лишнего. И у тебя тоже прошу прощения... — Это относилось ко мне. — Я и направился к «Националю», где меня склеила привлекательная молоденькая

путанка лет двадцати. У нее уже и машина, и квартирка на Старом Арбате, и всякие там видяшники... В общем, она в порядке. Время провел недурно, девица оказалась опытная во всех смыслах. Профессионалка. Остался без копейки валюты. Рубли барышня не уважает. Так что улетаю без гроша в кармане.

— У меня есть где-то долларов пятнадцать, — сказал я. — Тебе там хоть на такси хватит, чтобы доехать из аэропорта.

— Это мне здесь хватит, чтобы доехать на такси до Шереметьева. Эти молодчики в клеточку за деревянные рубли теперь не возят. Исключительно за конвертируемые денежки.

Я достал из письменного стола доллары, которые не успел потратить в последней поездке по Норвегии, и отдал ему.

— Мне пора. Пока схвачу машину. Опаздывать не хочется, — сказал Олег, — Счастливо оставаться. Посидим, что ли, перед дорогой?

Мы все трое присели и помолчали. Потом Олег встал, обнял меня, помахал Люде рукой и направился к двери. Я почувствовал, что не могу позволить ему уйти так внезапно и навсегда. Я понял, что без него моя жизнь станет неполной и ущербной. Мне показалось, что от меня отрывают часть меня самого. Хотелось задержать его, продлить прощание, остановить, попросить не уезжать.

— Подожди. Я не могу с тобой так сразу расстаться. Я отвезу тебя в аэропорт.

И, прежде чем Люда и Олег успели что-то возразить, я уже оказался на лестничной клетке. Я бежал вниз, надевая на ходу пальто. По предсказанию цыганки мне оставалось жить не более тридцати минут. Люда и Олег спешили за мной и уговаривали вернуться. Но меня охватило какое-то безумие. Я ничего не слушал и летел навстречу судьбе.

Олег и Люда обогнали меня и преградили путь, закрыв собою парадное. Но я — откуда только сила взялась! — отодвинул их с дороги и выскочил во двор. Я примчался к своей «Волге», отпер двери с пассажирской стороны, распахнул их и пошел открывать шоферскую дверцу.

— Садитесь! — скомандовал я Люде и Олегу, которые беспокойно озирались вокруг.

Олег швырнул свой чемодан на заднее сиденье.

В этот момент заляпанный грязью «Жигуленок» отъехал от тротуара и направился к арке, ведущей на Тверскую.

— Кажется, это они! — вдруг произнес молодой Горюнов и сделал два шага вперед, заслонив меня от едущего автомобиля.

И тут прозвучал резкий звук выстрела. Олег медленно осел на землю, а грязный «Жигуленок» скрылся в арке. Я подбежал к Олегу, пуля угодила ему в грудь.

— Вызывай «Скорую»! Немедленно! — завопил я в ужасе.

Люда понеслась со двора на улицу к телефону-автомату. Я опустился на колени и стал расстегивать куртку Олега.

— Ну, вот, предсказание сбылось, цыганка не ошиблась. Кажется, они выстрелили метко, — тихо произнес Олег.

— Это все из-за моего упрямства, — сказал я, цепенея, ибо видел, откуда хлестала кровь. Как бывший доктор, я понимал, что дело дрянь! — Господи, какой же я идиот!

— Слушай меня и не перебивай, у меня мало времени... Возьми в кармане пиджака паспорт и билет... — Голос Олега слабел, паузы между словами становились все длинней и длинней. — Паспорт... на мое... и, значит, на... твое имя... немедленно в

аэропорт... улетай... только так... спасешься... у этой страны... нет будущего... беги... это не эмиграция... это эвакуация... бери паспорт...

Под гипнотическим взглядом умирающего я засунул руку в карман пиджака и вытащил паспорт, в который был вложен авиабилет.

— Беги отсюда... прошу... — прохрипел Олег. — ...я... сделал... то, что... мне...

Он не договорил. Тело его дернулось и замерло. Я схватил его руку и стал искать пульс, но никак не мог отыскать. Не мог, потому что пульса больше не было. Я машинально посмотрел на часы. Через пятнадцать минут исполнится ровно двадцать четыре часа с момента моей встречи с прорицательницей.

Прибежала Люда:

— Ну, как он?

— Умер...

Люда наклонилась над телом.

— Я вызвала по 03 «скорую» и по 02 милицию.

— Он специально прикрыл меня от выстрела.

— Я видела...

— Он спас мне жизнь... Ценою своей...

Около нас стала собираться толпа. Люди переговаривались:

— Что случилось?

— Человека убили!..

— Я слышала — стреляли...

— Как стало страшно жить!..

— Я видела: стреляли из машины.

— Преступники совсем обнаглели!..

— На днях священника убили. Топором.

Я протянул паспорт Олега, который до сих пор держал в руке, Люде. Она машинально положила его в сумку.

— Среди бела дня...

— Какой молодой-то!..

— Рэкетеры, что ли?..

— Жуть, одно слово...

Люда приблизилась ко мне и прошептала:

— Посмотри, как он изменился!..

Я уставился в лицо мертвого. Оно действительно стало каким-то другим. Что-то неуловимое, необъяснимое случилось с его чертами. Нет, он не стал рыжим или курчавым, у него не изменился нос, не ввалились щеки. Вроде все оставалось таким же, но вместе с тем это был лик другого, незнакомого мне человека. То ли смерть так исказила внешность его, то ли проступила иная, скрытая личина. Какой-то мистический страх, чувство доселе знакомое мне, пронзило меня. Я снова ощутил, как свершается что-то за гранью моего опыта и понимания.

Первой приехала милиция, а вскоре явилась и «скорая помощь». Толпа при виде милицейского «газика» быстро растаяла, осталось только несколько человек. У Олега, разумеется, не нашли никаких документов. В бумажнике было пятнадцать долларов и около трехсот рублей. Я объяснил милиции, что убитый — молодой автор, который принес для прочтения свою рукопись, сказал, что и пришел именно ко мне потому, что мы с ним полные тезки. Кто он, откуда — я понятия не имею. Документов у него, разумеется, не спрашивал. Я врал с легкостью, будто кто-то мне суфлировал эту версию.

Милиционеры занесли в протокол, что жертву звали предположительно Олег Владимирович Горюнов. Санитар и шофер «скорой помощи» загрузили труп в машину. Я поинтересовался, куда его отвезут. Они сказали, что в морг больницы имени Склифосовского. Офицер милиции предупредил, что они откроют уголовное дело и тогда рукопись убитого может понадобиться. Я дал свои координаты, вернее, они списали их с моего паспорта. А паспорт был всегда при

мне, ибо без документа с пропиской в городе за последние месяцы ничего нельзя было купить. «Скорая» увезла тело моего спасителя. Опросив свидетелей, отбыла и милицейская команда. Все это заняло не больше тридцати минут, и мы с Людой остались одни у моей «Волги», которая так и стояла с распахнутыми дверцами. Не сговариваясь, мы сели в машину и захлопнули дверцы. Меня знобило, я не мог прийти в себя, мне никак не удавалось успокоиться. Я клял себя за идиотский порыв, что выскочил во двор и подставил Олега под пулю. Люда тем временем открыла паспорт моего застреленного двойника и вскрикнула.

— Посмотри, — прошептала она и протянула мне заграничный паспорт.

Я взглянул и оторопел. В документе была наклеена моя фотография. Именно моя, шестидесятилетняя, а не молодая. В графе же «время рождения» был указан мой год — 1928, и на задних листах стояла печать с израильской визой.

— Сейчас одиннадцать часов, — решительно произнесла Люда, — а самолет в двенадцать сорок. До Шереметьева с площади Пушкина можно доехать за полчаса. Трогай. Ты должен улететь этим самолетом. Поговорим по дороге.

— Я никуда не полечу, — резко ответил я.

— Я тебя выпихну насильно. Ты что, придурок? — закричала Люда. — Самоубийца? Заводи машину! Скорее! Не трать время!

— Я должен похоронить Олега, — упрямо сказал я. — И не хочу жить без тебя.

— Я сама похороню Олега. Лучше похоронить одного, чем двоих. Должен ты что-нибудь соображать, старый кретин! А если ты не раздумаешь относительно меня, то вызовешь, и я прилечу. Ну, давай же, заводи!

Люда была в исступлении, в бешенстве, в ярости. Потом из ее глаз брызнули слезы:

— Миленский, умоляю тебя... Спасайся... Ты должен уцелеть... Счастье мое, любимый... Поехали... Заклинаю...

Это был такой сильный всплеск горя, такой неистовый напор, что я подчинился... Я выехал из арки на Тверскую.

— Давай налево! — скомандовала Люда.

— Запрещено!

— Делай, что тебе говорят! — прикрикнула Люда.

Я повернул налево и промчался мимо обалдевшего гаишника.

— Быстрее, — шептала Люда. — Быстрее!

— Красный свет, — отвечал я, инстинктивно нажимая на педаль тормоза.

— Черт с ним. Жми! Ты не должен опоздать, не имеешь права.

И я пер на красный. Я летел, нарушая правила уличного движения, подгоняемый исступлением и собственным чувством паники, которое вдруг ворвалось в меня.

— Дай слово, что приедешь ко мне!

— Приеду, прилечу, доплыву, дойду, доковыляю, доползу, — говорила она. — Быстрее! Еще быстрее!..

Я бросил машину там, где не положено, у самых дверей, ведущих в пассажирский зал.

— Вот тебе ключи от машины, отгонишь «Волгу» в город. Возьми также документы на автомобиль,—

Мы вбежали внутрь здания аэропорта. — А это ключи от квартиры, будешь жить у меня. Распоряжайся всем, как своим. Это и есть твое.

Вдруг я услышал голос аэровокзальной дикторши:

— Пассажир Горюнов! Срочно пройдите к стойке регистрации... Повторяю. Пассажир Горюнов...

Я неожиданно остановился. И вдруг увидел себя, бегущего, со стороны. То смятение, которое навалилось на меня в последние полчаса, вдруг стало уходить. Я

огляделся вокруг. Ко мне как бы возвращалось сознание, искаженное доселе ужасом. И в момент, когда паника кончилась, уже холодным, трезвым рассудком я принял окончательное решение: я никуда не улетаю! Я здесь родился, здесь прошла моя жизнь, и я приму все, что выпадет на мою долю. Это моя страна, мой народ, какими бы они ни были. И я разделю общую участь. Я повернулся и направился обра...

Город маревом окутан,
весь обвязан и опутан
проводами белыми...
Стужа забирает круто —
все заиндевелое.

На заснеженной коряге,
словно кляксы на бумаге,
коченеют вороны...
И зрачки сквозь призму влаги
крутят во все стороны.

Не пробиться сквозь туманный
воздух, плотный, деревянный,
атмосфера твердая...
Холодрыга окаянный
обжигает морды.

Мир — огромная могила,
все погибло, все застыло...
Тишь! Ледовая беда!
Кажется, что эта сила
не оттает никогда...

Постскрипtum

«Я повернулся и направился обра...» Таковы были последние слова, написанные Олегом. В это мгновение там, где Олег писал свою повесть, раздался телефонный звонок, и он, не закончив слова, схватил трубку. Звонила я, Людмила Кирюшина, та самая женщина из сбербанка. Я считаю, что обязана рассказать о событиях, случившихся после фразы, оборванной моим звонком.

...Олег резко и внезапно остановился, выслушал объявление дикторши и, не говоря ни слова, повернул обратно. Он шел решительным шагом, а я семенила рядом.

— Я не могу уехать. То, что со мной сейчас происходило, когда я поддался твоим уговорам, — это наваждение какое-то! Куда мне бежать? Что я там буду делать? Зачем? И потом, я уверен, если полечу на этом самолете, он взорвется. Такое уж у меня счастье. Зачем же убивать остальных пассажиров?

Я пыталась возражать, оспаривать его решение, но он стал непреклонно спокоен.

— Я встану сейчас на колени перед тобой! — заплакала я и начала приводить это в исполнение.

Он подхватил меня, прежде чем я успела опуститься перед ним, взял под руку и повел прочь из пассажирского зала. На улице он отобрал у меня автомобильные ключи. Весь путь назад я уговаривала его немедленно уехать из Москвы. Пусть не за границу, но сейчас же и куда глаза глядят, туда, где его не знают. К каким только аргументам я не прибегала! Но у меня не было уверенности, что он меня слышал. Мы вернулись в его квартиру. Я опять пошла в атаку — призывала его бежать, и немедленно! Я боялась

очередного, третьего выстрела. Он вяло сопротивлялся, считал, что от судьбы не скроешься. Сказал, что у него нет сил сопротивляться, что он устал жить. Говорил о том, что не знает, кто стрелял, что можно высказывать любые предположения, что охотников на его жизнь оказалось, видно, немало: от моего мужа до боевиков «Памяти», от Поплавского до военных и кагэбэшников. Я хотела его спасти во что бы то ни стало, сохранить, уберечь, защитить. Я любила его и осознавала, что Олега нужно увезти из Москвы как можно скорей. Потом я махнула рукой на его тупой отпор и стала собирать чемоданы с самыми необходимыми вещами. Я не знала, где что лежит, и все время спрашивала его. Во мне вдруг проявились удивительное самообладание и несвойственная мне обычно собранность. Я понимала, что уехать придется надолго, вероятно, на несколько месяцев. А может — ситуация в стране была непредсказуемая, — и навсегда. На носу зима, поэтому необходимо взять с собой теплые вещи. Пока я укладывалась, все время трезвонил телефон. Я запретила Олегу подходить и попросту выдернула телефонный шнур из розетки. Постепенно Олег вышел из прострации, начал помогать мне, а потом — вот уж чего не ждала — совершенно неожиданно стал ко мне приставать и повалил на тахту. Честно признаюсь, я не очень-то сопротивлялась. Перед отъездом он хотел кому-то звонить, с кем-то попрощаться, но я ему этого не позволила. Дочь с внучкой были на курорте, а остальные могли подождать. Он покорно слушался. Надо было исчезнуть безо всяких уведомлений. Я чувствовала, что опасность над его головой сгущается. Я не знала, куда мы поедем, но это можно было решить по дороге. Выходили мы из квартиры Олега, как жулики, осторожно озираясь по сторонам. Он оглянулся на обожженную дверь, невесело ухмыльнулся и пнул ногой бутылку из-под бензина. Я оставила его в

подъезде, сначала отнесла в машину один чемодан, затем другой. Потом, посмотрев по сторонам, я подала ему знак, и он вышел из парадного. Сердце лихорадочно трепыхалось, но он шел к машине нарочито медленно. Как я его ненавидела за эту бессмысленную якобы храбрость! Он сел за руль, и мы оставили двор, где в Олега уже дважды стреляли. Он спросил, куда мы едем, есть ли у меня какие-нибудь идеи. Я сказала, что не знаю, что у меня нигде нет родственников. Только в маленьком городке Кашине живет сестра отца, но я с ней тысячу лет не общалась, не виделась, не переписывалась. Он поинтересовался, где находится этот самый Кашин. Я объяснила, что в бывшей Калининской, а ныне Тверской области, на границе с Ярославской. Сказала, что это очаровательный древний русский город, который необъяснимо уцелел от большевистского уничтожения, там полно церквей, старинные торговые ряды, но, главное, там есть гостиница.

— Решено, — согласился Олег. — Едем в Кашин. Какая разница? А как быть с твоими вещами?

Я ответила, что попробую позвонить домой. Если мужа нет, то заскочу на несколько минут и схвачу что-нибудь, без чего нельзя обойтись.

— А вдруг он в это время вернется? — обеспокоенно спросил Олег. — Потерять тебя не входит в мои планы. Без тебя я попросту никуда не поеду.

— Будем надеяться на удачу, — сказала я. — До сих пор нам везло.

— Ты считаешь убийство Олега везением? — укоризненно произнес он.

— Прости, — спохватилась я, понимая, что допустила больше чем бестактность.

В ближайшем телефоне-автомате я набрала домашний номер. Продолжительные гудки были мне ответом. Я ждала довольно долго, но никто не снял

трубки. Я позвонила второй раз, но с тем же результатом.

Вскоре мы подъехали к дому, где я жила. Автомобиля мужа около подъезда не было, и я заспешила к лифту. Олега я оставила в машине за углом у соседнего здания и запретила ему высовываться. Откровенно говоря, сердчишко у меня прыгало беспокойно. Я кое-что побросала в чемодан, достала с вешалки шубу. Потом открыла верхний ящик письменного стола, чтобы взять паспорт, ибо у нас без документа не проживешь. Открыла и ахнула. В ящике лежали запечатанные по-банковски пачки денег в пятидесятирублевых купюрах. Там было, на глазок, несколько сотен тысяч рублей. Кто бы знал, какое искушение охватило меня! Я понимала, что нам сейчас очень понадобятся деньги, которые хоть с каждой минутой и теряли свою стоимость, но без них тем не менее прожить было нельзя. Я взяла две пачки, потом, поразмыслив, решила забрать только одну (авось муж не заметит), в которой, судя по упаковке, было тысяч пять. Потом вспомнила лицо Олега и подумала, что он вряд ли бы меня одобрил. Я бросила деньги обратно, схватила паспорт и помчалась к выходу. В одной руке у меня был чемодан, в другой я несла шубу. Олег вышел из машины и заторопился ко мне навстречу, чтобы помочь. Я обругала его, мы быстро запихнули шмотки на заднее сиденье и мигом отъехали от опасного места.

— У нас нет денег, — сказал Олег, — Сейчас мы заскочим в сберкассу, и я возьму все, что у меня там есть.

По дороге к сбербанку Олег рассказал, что, пока ждал меня, открыл чемодан младшего Горюнова. Там ничего не было, кроме четырех папок, заполненных машинописным текстом, явно рукописями. Он прочитал один небольшой рассказ, который привел его в восторг. Олег сказал, что это оказалась сильная, мускулистая,

жесткая проза, от чтения которой возникает ощущение встречи с крупным писателем. Сказал, что хочет все прочитать и если остальное окажется на таком же уровне, то, значит, в России появился новый значительный сочинитель. Сказал, что сделает все, чтобы опубликовать написанное Горюновым...

— Лучше бы меня убили. Я-то уже все, с ярмарки. А Олег только начинал, мог бы — кто его знает! — удивить мир. А он себя подставил под выстрел...

Тут мы остановились около сбербанка. На этот раз я оставалась в машине. Я заперла на кнопки все двери, чтобы нельзя было открыть снаружи. Около магазина, рядом со сбербанком, ошивались какие-то мерзкие, уголовного вида типы, а я трусиха. Пока не было Олега, я вспоминала время, когда работала здесь, вспомнила мое первое впечатление об Олеге. По-моему, я втюрилась в него сразу же. Несмотря на то, что мы сейчас становились, по сути, беженцами, я чувствовала себя счастливой. Мы наконец-то были вместе, наконец сбылось то, о чем я и мечтать-то не смела. Из сбербанка выскочил Олег и зашел в магазин. Вскоре он пулей вылетел оттуда, ничего не купив.

— Денег не густо, — сообщил он, усаживаясь за руль. — Я взял аккредитив на три тысячи и восемьсот рублей наличными. Это все наши ресурсы. Хотел что-нибудь купить в дорогу, да где там, в магазине шаром покати. По какому шоссе надо ехать в этот твой Кашин?

Сначала мы катили по Ярославскому шоссе, а в Загорске повернули налево, на Калязин. В Калязине мы полюбовались старинной колокольней, которая торчит прямо из воды посреди искусственного водохранилища. Собор скорее всего уничтожили, а колокольня на диво сохранилась. Колокольня, растущая из воды, — зрелище весьма ненормальное и удивительное. А там еще полчаса, и мы въехали в Кашин. Сначала мы направились на квартиру к тетке. Оказалось, что тетка

уже год как умерла и в ее квартире жили посторонние. Может, мне и сообщали о ее смерти по старому, еще маминому, адресу, но я никаких известий не получала.

Мы направились в пятиэтажную типовую гостиницу, и там благодаря известности Олега удалось получить номер из двух комнат, который называется «полулюкс». Словосочетание, разумеется, отечественное. В гостиничном номере имелось все, что необходимо для жилья, — ванная, черно-белый телевизор, холодильник, но, вместе взятое, это напоминало пародию на апартаменты. Например, умывальник висел очень криво, его устанавливал сантехник, в котором наверняка булькало граммов восемьсот — выражение Олега. Кафель в ванной клал плиточник-абстракционист, столь неровно и причудливо, что на выставке авангарда кусок стены мог бы отхватить главный приз. На убогой мебели на самых видных местах были прибиты жестяные овалы с инвентарными номерами. Обои наляпали люди, явно нетвердо стоявшие на ногах. Когда мы въезжали в полулюкс, ставший нам приютом почти на два месяца, Олег произнес небольшой монолог. Я запомнила его смысл. Он говорил, что в молодости, когда начинал писать, то считал народ чем-то святым. Народ в целом, по его мнению, не мог быть не прав, народ в целом всегда безгрешен, а художники в долгу перед народом. Он сам себя всегда считал частью народа, ибо жил его жизнью, интересами, бедами, разделял долю соплеменников. Но потом — это пришло к нему как откровение — он понял, что понятия «советский народ» не существует. Люди, родившиеся при этой власти и воспитанные ею, разучившиеся работать, разложившиеся от алкоголя, умеющие только доносить и убивать, грабить и делить, — это не народ. Это толпа, сборище, быдло. Мы, говорил он, бывший народ. Но у нас, как в любой

огромной навозной жиже, можно найти и бесценные самородки.

Олег сразу же засел за работу — ему не терпелось написать эту повесть. Я же занималась бытом и хозяйством — доставала продукты, бегала на рынок, стояла в очередях. Удалось купить подержанную электроплитку, выпросить у гостиничной дежурной кастрюлю и сковородку. Кипятильник, по счастью, захватили с собой. В ванной я стирала — это приходилось делать весьма часто, так как белья оказалось мало. Утром я приносила газеты, а вечерами мы смотрели телевизор. Вести все были мрачные, безысходные. Нарастал террор, межнациональный и просто преступный. Все более жестокой становилась уголовщина. Стреляли седьмого ноября на Красной площади, убивали милиционеров, прицельно палили по журналистам. По стране металась раздетая и разутая беженцы. Западные страны, в том числе и побежденные нами, стали слать великой державе продовольственные подачки, как будто у нас прокатились разруха и война. Черные силы во главе с коммунистами оправились и перешли в наступление. Радикалы, парализованные саботажем, выясняли, как всегда, отношения между собой. Вагоны не разгружались. Москве и Ленинграду провинция объявила блокаду. Каждые три дня молодые парни, угрожая бомбами, угоняли самолеты в Швецию и Финляндию. Президент издавал бесполезные указы, депутаты произносили бесполезные речи. Республики отваливались. Тот, кто представлял хоть малейшую ценность, оседал на Западе. Хаос, катастрофа, бардак, безвластие, безверие, отчаяние. Настроение у Олега от всего этого было подавленное. И только за письменным столом он отвлекался от беспросветных мыслей.

Перед сном Олег читал мне написанное за день.

Гостиницу населяли в основном усатые люди с Северного Кавказа. Думаю, номера им предоставляли за

солидные взятки. Вообще в Кашине почему-то было довольно много кавказцев, которые не то работали, не то спекулировали, а может, делали и то, и другое. Между ними и местным населением часто возникали потасовки и поножовщина из-за девушек, по пьянке и просто потому, что местным парням не нравились нахальные приезжие, которые держали себя как хозяева жизни. Мы вечерами не выходили из нашего полулюкса. Три раза я ездила в Москву на поезде — Олег подвозил меня к вокзалу и возвращался работать. Он рвался в Москву сам, но я стояла насмерть.

В первый раз я поехала в Москву где-то дней через семь после нашего прибытия в Кашин. Он наказал мне узнать, где похоронили младшего Олега. Для этого он велел заехать в морг больницы имени Склифосовского, куда увезли тело, и выведать, на каком кладбище он покоится. Это было не единственное поручение. Еще надо было завезти статью в редакцию к Егору Яковлеву. Статья, помню, называлась: «Пора брать Бастилию». В ней говорилось, в частности, о том, что для того, чтобы начинать заново, надо сначала уничтожить, снести символ прежней власти. Во времена Французской революции таким символом слыла Бастилия, в наше время — огромное здание, стоящее позади памятника железному Феликсу. Кроме того, мне было поручено зайти к Олегу домой и захватить кое-какие вещи и книги.

В морге больницы имени Склифосовского проверили записи и сказали, что в тот день, который я назвала, покойник с такой фамилией у них не проходил. Тогда я попросила проверить на всякий случай несколько последующих дней. Человек с фамилией Горюнов в их книгах не значился, такого не хоронили. Обескураженная, я позвонила с почтамта в Кашин. Олег посоветовал обратиться в городской загс, в отдел регистрации смертей, наверное, такой там существует.

Я поехала и туда, но тоже безрезультатно. Была еще милиция. Но туда сунуться я побоялась... Тем более у меня вдруг возникли подозрения — ни на чем не основанные, — что и в милиции также не окажется никаких данных. Когда я вернулась в Кашин, Олег встречал меня у поезда. У него был вид крайне озадаченный. Я доложила ему, что и в городском загсе нет сведений об убитом человеке с его фамилией. И тогда он поведал мне, что после моего звонка решил прочитать все литературное наследие младшего Олега. Он открыл чемодан, достал папки, но вместо листов с текстом там оказались чистые, нетронутые страницы. И куда-то пропал заграничный паспорт. Олег перевернул вверх дном комнату, но документ исчез. Вот и не верь после всего этого в нечистую, вернее, в данном случае, в чистую силу. Объяснить ни появление второго Горюнова, ни исчезновение следов его существования мы не могли, хотя часто беседовали об этом. Коллективных галлюцинаций не бывает, так что двойник Олега не был миражом, фантазией, призраком. В этом мы не сомневались. Но понять, кто его послал, откуда он возник, что означала его последняя незаконченная фраза: «Я сделал... то, что... мне...» Чего он не успел сказать: «Велели, приказали, разрешили?» Так это и остается тайной, загадкой, чем-то необъяснимым...

Второй раз я ездила в Москву, когда кончились деньги. Олег попросил меня взять в его квартире японский двухкассетник «Саньо» и продать его. Поручение я выполнила. Около комиссии какие-то расторопные узбеки дали мне за него три с половиной тысячи. Кроме того, я привозила почту, отправляла из Москвы его корреспонденцию. Каждый раз он встречал меня на кашинском вокзале нежно, с цветами, как влюбленный мальчик. Когда я поехала в столицу третий раз, то узнала страшную новость. Его дачу сожгли. Я

поехала туда. От дома остались только закопченные кирпичные стены. Крыша провалилась. На меня смотрели черные, пустые, обгоревшие окна-глаза. Опаленный огнем, скрючившийся холодильник походил на иллюстрацию к теме, что будет после атомной войны. Сгорели полы, перекрытие между этажами. Пламя сожрало несколько елок, стоявших близко к зданию. Разруху и уныние подчеркивали тающий снег на черных балках, рухнувших вниз, каркающие вороны, сгоревшие книги, какая-то разбросанная по грязному снегу рухлядь, тронутая огнем. Я постояла на пепелище и пошла прочь. Я была никто, я ни к кому не могла обратиться, не имела права. На вопрос: «Кем вы ему приходитеесь?» — я ничего не могла бы ответить. Я решила позвонить Олегу, но не хотела делать это из его квартиры — боялась, что телефон прослушивается. Я поехала на Центральный телеграф и сообщила Олегу о том, что случилось. Он сказал, что немедленно выезжает. Я пыталась его отговорить, но это было безуспешно. Я умоляла его остаться в Кашине, но он не желал меня слушать. Велел, чтобы я ждала его дома. Весь период, прошедший со времени нашего внезапного бегства из Москвы, Олег рвался обратно. Для него было унижением скрываться, прятаться, быть в подполье. Он все время хотел продемонстрировать мне, что он не трус. И единственное, что примиряло его с таким существованием, — моя фраза: «Представь, что ты уехал в Дом творчества, чтобы работать. Здесь тебе никто не мешает и нет никаких дел, кроме повести». Тут он скрепя сердце подчинялся. От Кашина до Москвы езды на машине было около пяти с половиной часов. Еще за полчаса до его возможного приезда я вышла во двор, чтобы встретить его. Когда я приезжала в Москву и ночевала в его квартире, то не зажигала в ней света. Я подозревала, что за квартирой, может быть, следят, ибо, помимо предсказания, два выстрела были

убедительными аргументами по поводу грозящей ему смерти...

Через два дня после возвращения Олега из Кашина он погиб. Вот как это случилось. Он вышел из дома во двор на несколько минут раньше меня — разогреть двигатель машины. Стоял декабрь, но морозы были еще не столь сильные. А я ставила квартиру на охрану. Когда я спускалась по лестнице (лифт опять не работал), я услышала гулкий, резкий звук на дворе. Дурнота, страшное предчувствие нахлынули на меня. Я, кажется, закричала и побежала вниз. Когда я вылетела во двор, Олег протирал от снега лобовое стекло машины. Увидев меня, он улыбнулся, а я с каким-то нечленораздельным хрипом уткнулась ему в лицо. Рыдая, я пыталась объяснить, чего испугалась, а он, перебирая волосы, гладил меня по голове, объясняя, что на соседней стройке сбросили с траллера рельс, а я этот звук приняла за выстрел. Постепенно я успокоилась, и мы поехали. По дороге он подбросил меня к парикмахерской, а сам отправился навещать дочь и внучку, которых давно не видел. Я постояла на тротуаре, пока он не отъехал. Он помахал мне рукой, а я незаметно перекрестила его. Я это сделала впервые в жизни. Мы распрощались с ним около двух часов дня, а к шести вечера он обещал вернуться домой. Я оказалась дома около пяти и принялась за стряпню. После шести я начала беспокоиться. Я выскочила во двор и стала нервно расхаживать по территории. Время тянулось издевательски медленно. Около семи я решила позвонить его дочери, но поняла, что мне неизвестен номер телефона. Я знала, что дочь замужем. Для того, чтобы разведать телефон через справочную, надо было как минимум знать фамилию ее мужа. Или в крайнем случае точный адрес. А я, конечно, не знала.

Время ползло к восьми. Меня охватил страх. Ужасные картины расправы с Олегом вторгались в мое

сознание, хотя я отгоняла их. Я не знала, что предпринять. Я опять выбежала на улицу и начала кружить около дома. Олег не появлялся. Я побежала наверх и стала названивать милиционеру дежурному по городу. Он ответил, что данными о Горюнове не располагает. Я схватила большой телефонный справочник «Москва» и стала искать телефоны моргов. Их оказалось около десяти. Методично, один за другим, я набирала номер за номером. В каких-то моргах никто не подходил, а в остальных отвечали, что покойник с такой фамилией у них не числится. Потом я испугалась, что телефон у меня все время занят: вдруг Олег пытается дозвониться домой и не может? Я села около телефона и стала ждать звонка, не сводя глаз с аппарата. Но стояла мертвая тишина, телефон молчал. Наконец раздался громкий звонок. Я рванула трубку. Звонили из еженедельника «Столица» с просьбой дать какой-нибудь рассказ для публикации. Я попросила позвонить завтра.

Время перевалило за девять. От Олега ни слуху ни духу. Я уже не сомневалась, что эти подонки убили его. Иначе он обязательно позвонил бы. Он, зная мой страх за него, обязательно добрался бы до телефона. Он где-то лежит, либо мертвый, либо беспомощный, нуждающийся во мне, а я ничего не знаю, ничего не могу сделать. И тут со мной началась истерика — я редела, выкрикивала какие-то ругательства, обращалась с просьбами к Богу, каталась по полу. А потом сознание будто отключилось и вяло текло где-то в стороне от меня, помимо моей воли. Долго ли я пробыла в полубесчувственном состоянии — не знаю. Вдруг оглушительно зазвонил телефон, и я как сумасшедшая схватила трубку. Звонили из больницы Склифосовского. Минут пятнадцать назад Олега подобрали в подземном переходе, где он лежал без

сознания. Сказали номер отделения и палаты, куда его поместили.

— Как он, как самочувствие? — крикнула я.

— Тяжелое, — ответил женский голос, и трубку повесили.

Было без двадцати двенадцать. В каком-то сумбуре чувств, когда отчаяние перемежалось с надеждой, на перекладных, где на троллейбусе, где бегом, я добралась до больницы. У меня, наверное, был безумный вид, ибо меня пропустили беспрепятственно. Я поднялась на лифте и стала беспорядочно, бестолково искать номер палаты. Когда я остановилась у нужной двери, меня колотило от озноба. Я постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. На трех койках лежали какие-то незнакомые мужчины, четвертая кровать была пуста.

— Здесь должен быть больной Горюнов, — хриплым, потухшим голосом произнесла я.

— Писатель, что ли? — спросил один из больных, а другой пациент поднялся на локте и сказал сочувственно:

— Он на этой кровати лежал. Минут десять назад его увезли... — И после паузы добавил: — В морг.

А другой объяснил диагноз:

— Переохлаждение организма.

У меня подогнулись колени, и я опустилась перед его койкой, перед его последним пристанищем.

А потом я увидела его в морге...

Позже врач из приемного отделения и дежурный по клинике рассказали мне, что произошло.

Олег упал в подземном переходе где-то около пяти вечера. Лежал он, к несчастью, лицом вниз, иначе его кто-нибудь опознал бы. Около шести часов подряд он пролежал в людном месте. Это было в том числе и в час пик, когда подземный переход переполнен.

И никто, ни один человек, ни один из тысяч, не склонился над ним, не спросил, в чем дело, не предложил оказать помощь... Его брезгливо обходили, как пьянчугу, упившегося до скотского состояния. В нескольких шагах от лежащего молодые люди и девушки торговали эротической литературой и похабными картинками, а на соседнем ларьке предлагали всяческую клубничку про похождения наших политических лидеров. Никто из продавцов не беспокоился тем, что в декабре на асфальте несколько часов подряд лежит и замерзает человек. Даже если он пьяный.

— Отчего он упал? — спросила я, — На теле есть следы удара или рана?

— На голове сильный ушиб, — сказал доктор. — Но определить, что это — результат падения или же нанесения удара — очень трудно. Здесь должен разбираться врач-криминалист.

— След от ушиба спереди головы или сзади?

— Рана на затылке. Там в переходе — ремонт. Мог споткнуться, упасть навзничь, удариться о камни, железки.

— Когда он умер?

— Его привезли к нам еще живого, но совершенно окоченевшего. Смерть наступила не только от травмы, но и от переохлаждения организма. Сделать уже ничего было нельзя, поверьте нам.

Всю ночь я просидела в подвале, в коридоре у двери морга. Утром пришел патологоанатом. Вскрытие делалось в присутствии врача-криминалиста. Они признали, конечно, что травма на голове — это не доказательство покушения, не следствие нанесенного кем-то удара, а естественный результат, возникший от падения. Ударившись о камень или что-то железное, Горюнов, очевидно, упал и потерял сознание. Я

понимала их. Зачем милиции вешать на себя бесперспективное дело?

Мне отдали вещи Олега, и я вышла на Садовое кольцо. Первым делом я добралась до подземного перехода, где он упал. Действительно, там был навал камней, плит и железных труб, а рядом заджинсованное племя, «младое и незнакомое», шустро торговало всякой похабщиной. Около них толпились люди, разглядывая картинки половых органов и разных способов любви — то, что еще недавно нашему человеку было в диковинку. Покупали, несмотря на лихие цены, бойко. Я попыталась расспросить их о вчерашнем инциденте, но им было не до меня. А когда я принялась выговаривать торгующей девице, мол, как они могли допустить, что рядом с ними замерзал человек, то она на меня попросту поперла:

— Че те надо? Че привязалась? На работе мы, ясно? Нам не до пьяни всякой. Пусть менты ими занимаются.

Я отскочила от нее, понимая, что тратить время на это отребье бессмысленно. Я поднялась наверх. Недалеко от перехода стояла машина Олега. Очевидно, места для парковки около дома дочери он не нашел и поставил машину на другой стороне площади. Я открыла дверь, положила на сиденье сверток с его вещами и села за руль. Я долго сидела. Обрывки мыслей, воспоминаний, отдельные картинки про самое разное, не связанные друг с другом фразы беспорядочно пробежали в моем воспаленном сознании. Вспомнились любимые строчки Олега, которым надо было следовать как завещанию, выполнять их как святую заповедь:

С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь —
Всей кровью прорастайте в них.

И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг.

В свое время Геннадий научил меня водить машину, и я двинулась вперед, еще не зная куда. Я остановила «Волгу» около отделения милиции, поблизости от дома Олега. Там я нашла следователя и заявила о покушении и убийстве писателя Горюнова. Милиционер, который сначала отнесся ко мне со вниманием и серьезностью, по мере моего рассказа, где я упоминала о покушении, поджоге квартиры, о двойнике, все меньше и меньше сомневался в том, что перед ним особа, которая, несомненно, тряхнула рассудком. На вопрос, кем я прихожусь «убитому», я после паузы ответила: «Знакомая».

— Ясно, — ответил следователь. — Разрешите ваш паспорт, я спишу данные. На первый же допрос мы вас вызовем.

Но я понимала, что никаких допросов не будет. Хотя, кто его знает. Может, мне и присылали повестку, но я больше никогда не бывала в доме, где раньше проживала.

Уходя из милиции, я постаралась сказать следователю с максимальной убедительностью:

— Поверьте, я не сумасшедшая. Я просто люблю этого человека и знаю: его убили.

— Сделаем все, что в наших силах! — сочувственно ответил милиционер, но на его лице я ясно читала: «Господи, когда же ты уберешься отсюда со своей манией подозрительности».

— Спасибо, — безнадежно сказала я и, съезжившись, ушла.

Я въехала во двор, поставила машину на то место, куда ее обычно ставил Олег, и поднялась в последний раз в его квартиру. В квартире надрывно звонил телефон. Я машинально сняла трубку. Спрашивали, разумеется, Олега. Я спросила:

— С кем я говорю?

— Это его дочь. А я с кем говорю?

— Катя, — сказала я, — вы меня не знаете. Простите, что я сообщаю вам страшную новость, но вашего отца вчера вечером убили...

— Кто вы такая? — оторопело крикнула Катя.

Но я повесила трубку. Телефон снова трезвонил, но я была занята — раскладывала вещи Олега, отданные мне в больнице.

Ключи от машины и документы я положила в ящик письменного стола, костюм почистила и повесила в шкаф, рубашку бросила в корзину с грязным бельем. Потом я собрала в сумку свои немногочисленные шмотки, а из его вещей взяла фотографию да толстую рукописную тетрадку со стихами. Потом на секунду присела, оглянулась напоследок и подошла к телефону — ставить квартиру на охрану. И ушла навсегда...

Я не могла остаться в его доме. В качестве кого? Да, я была его женой, но нелегальной, подпольной. Я никому не смогла бы объяснить, как и почему оказалась в его квартире.

О моем существовании не подозревал никто из его близких: ни родные, ни друзья. Секретность наших отношений из-за стремительного бегства из столицы оказалась абсолютной. Я вроде бы и существовала, но по отношению к человеку, которого любила, меня как бы и не было. Три следующих дня оказались каким-то непрерывным кошмаром. Я казнила себя, что, может, Олег пал жертвой мстительной натуры Геннадия. Наводила справки, но муж, кажется, был в отъезде. Я ночевала у приятельницы, но ни в одну из этих

страшных ночей не могла забыться ни на мгновение. Мне не с кем было поделиться, не существовало человека, которому я могла бы выплакаться, хотя вряд ли это облегчило бы мое горе.

В газетах появились некрологи. У нас для убитых не жалеют пышных слов. А потом состоялись похороны. Гроб с его телом установили в Центральном Доме литераторов. Пришло много людей, очередь проститься стояла на улице. Около мертвого суетились родственники — дочь, пасынок, младший брат, неизвестные артисты и артистки, депутаты, писатели. Может быть, среди тех, кто стоял в почетном карауле, был и убийца. Говорились речи, перечислялись заслуги. А в толпе стояла я, окаменевшая от несчастья и непоправимой обиды, что не могла наедине попрощаться с любимым. Среди всех, кто толкался вокруг гроба, я была ему самым близким, самым преданным человеком. На Кунцевском кладбище, где ему отвели место, я подошла последней и крепко поцеловала его в ледяные, мертвые губы. Потом, когда все уехали, дул ветер, я долго сидела одна у свежей могилы и, монотонно покачиваясь, бормотала какие-то прощальные слова. Не знаю, сколько я просидела, не чувствуя ветра и холода, в темноте. В декабре темнеет рано. Кладбищенский служитель, проходя, сказал, что сейчас закроют ворота, и я бесчувственно поплелась к выходу.

Я вернулась на поезде в Кашин. Там в нашем полулюксе на столе лежала незаконченная рукопись. Ко мне в гостинице относились хорошо и не стали выселять сразу же. Я решила написать окончание повести, изложить то, что случилось потом. Я просмотрела все его стихи и решила добавить их к повести. Те стихи, которые как-то совпадали с последними мыслями и настроениями Олега. Некоторые из них были опубликованы раньше, другие еще не

печатались. Кое-что из лирики было посвящено мне, но большая часть, как я поняла, Оксане. А потом я собрала вещи и поехала в Москву, не зная куда. У меня не было дома, не было работы, не было денег, а, главное, все лучшее оставалось в прошлом. Но у меня была цель — напечатать его повесть...

И, кроме того, доктор сказал, что у меня будет ребенок...

1990 г.